

ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ



Балерина политотдела

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»





Юрий Яковлев

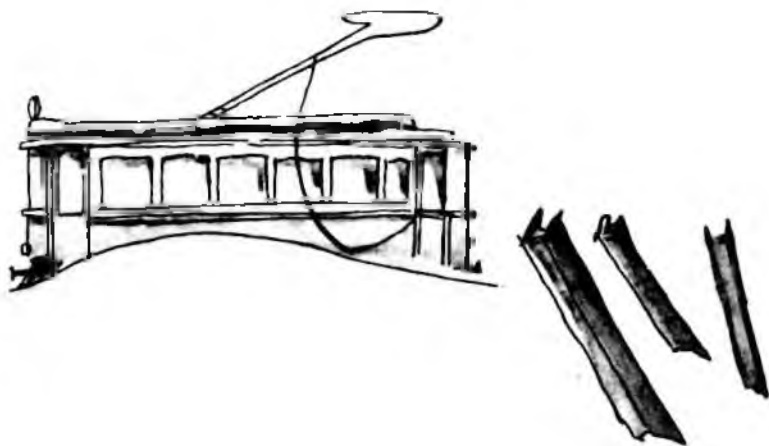
БАЛЕРИНА
ПОЛИТ-
ОТДЕЛА

ПОВЕСТЬ

Рисунки В. Вольского

Москва
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1977





1

Я бежал вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, а мне казалось, что я топчусь на месте, спускаюсь по эскалатору, который движется вверх. Наконец последняя ступенька, рванул на себя дверь. Мелкий колючий снег белыми песчинками сек лицо и шею, но я не отвернулся, не поднял воротник, а выбежал на покрытую наледью мостовую и долго пытался остановить машину. Они же пролетали мимо, не замечая меня. Будь я помоложе, плюнул бы на эти машины и побежал бы с Васильевского острова к Анничкову мосту.

Одна машина все же остановилась. Я распахнул дверку, плюхнулся на сиденье и закрыл глаза. Тут только сообразил, что выбежал из дома без шапки, в расстегнутом пальто, а шарф торчит из кармана. Я вытянул шарф и запоздало намотал на шею.

Что со мной? Почему я спешу, словно от того, как скоро приеду, зависит что-то важное в моей жизни? Я скашиваю глаза на шофера: козырек ушанки нависает, как поднятое забрало, нос с горбинкой, верхняя губа закрывает нижнюю, на подбородке рыжеватая щетина. Его обыденное спокойствие не передается мне, напротив, вызывает возмущение. Я отворачиваюсь и смотрю в окно. Белые капроновые нити метели опутывают машину, бросаются под колеса, сухо стучат по стеклу.

Только что позвонила моя ученица Галя Павлова. В трубке, как в полевом телефоне, стоял треск. Я не сразу узнал Галин голос и никак не мог взять в толк, про какую записку она говорила. Я крикнул в трубку:

— Чадо мое, объясни, какая записка?

— Увольнительная,— донеслось сквозь треск.— Балерина политотдела... Ей зачем-то нужен пистолет. Слышите, пистолет!..

Мне показалось, что Галя звонит мне с другого конца света, из другого времени, но я все же расслышал главное, понял, о какой записке идет речь, и меня ударило током, как много лет назад, когда эта записка впервые попала мне в руки.

С этой запиской я не расставался никогда. Обыкновенная солдатская увольнительная была для меня всемогущим пропуском. Я предъявлял этот документ не комендантским патрулям, не часовым застав и охранений, а самому себе, своей памяти — и сразу проникал в далекие, сокровенные уголки своей молодости. Грудь сдавливали взрывные волны, а сквозь сплошной душный грохот алой жилкой начинала биться мелодия песни про тачанку. И кто-то издали кричал: «Эй, киндерлейтенант, собирай свою команду, надо ехать к танкистам, они завтра на рассвете уходят в бой...» И я чувствовал необъяснимо родной запах шиповника, перемешанный с горьковатым духом пожара. Это от клочка бумаги пахло шиповником и дымом...

Я закричал в трубку:

— Галя! Где ты?

— Я в танцевальном классе, слышите? Мы с Димой...

— Ждите меня! Никуда не уходите! Берегите записку. Я сейчас!

Сидя в быстрой, медленной машине, я представлял себе, как Галя нашла на полу старую дольку бумаги. Может быть, под столом, а может быть, под роялем, у бронзового колесика. Представил, как Дима, со странной фамилией Молоденький, станет стариком, а все его будут звать «молоденьким», — заинтересовался запиской, вытянул свой острый носик.

— Что там у тебя?

— Бумажка какая-то, увольнительная...

— Кого-нибудь уволили, — решил Дима. — Интересно, кого уволили?

— Не знаю... Тут написано: «Увольнительная записка». Потом: «Фамилия, имя, отчество — Тамара Самсонова». Ты знаешь Тамару Самсонову?

— Не-ет... Ее уволили? За что? Читай дальше.

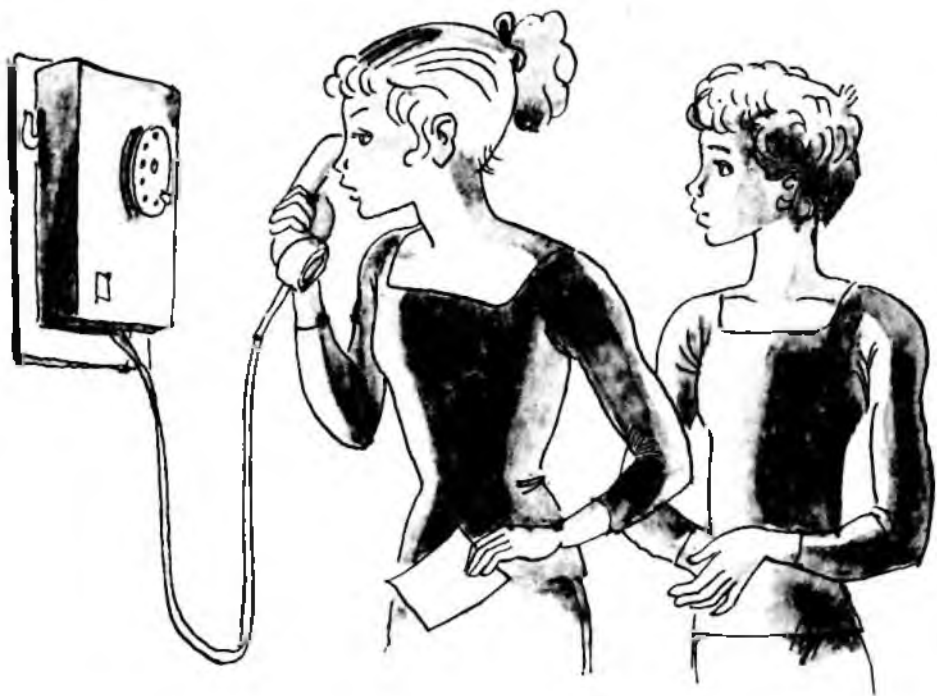
— «Звание — красноармеец. Занимаемая должность — балерина политотдела».

— Какая балерина? — наверняка переспросил Дима.

— Я же говорю: политотдела.

И тут он наверняка подошел к Гале и через ее плечо сунул свой носик в записку.

Эту увольнительную записку я знаю наизусть. Вижу круглый писарский почерк с нажимом — писарь заполнял бланк увольнительной пером № 86, — вижу круглую печать с номером воинской части. В увольнительной значилось, что «балерина политотдела» уволена «до 24.00, 14 июля 1942 года». И дальше шла подпись командира — моя подпись, с длинным хвостиком над буквой «б» — «Корбут». Ребята наверняка



узнали мою подпись по хвостику. И наверняка удивились, почему я, педагог, балетмейстер, расписался за командира. И я представил себе, как Дима, слегка заикаясь, сказал:

— Надо позвонить Борису.

Ребята всю жизнь за глаза называют меня Борисом.

Но тут, я уверен в этом, Галя случайно перевернула записку и увидела, что на оборотной стороне тоже написано. Только не чернилами — нацарапано карандашом. Слова тусклые, почти что стерлись. Буквы неровные, словно человек учился писать или же лисал в машине, которую бросало на ухабах. Но я-то знал, отчего дрожала рука.

Вот что прочитали мои чада на обороте увольнительной записки:

Милый Вадик, со мной все кончено. Я больше никогда не смогу танцевать. Раздобудь пистолет. Очень прошу. Твоя Тамара.

Ребята, конечно, ничего не поняли, но смутное предчувствие беды охватило их.

— Надо скорее отыскать Бориса! — на этот раз уже сказала Галя.

Они почувствовали, что надвигается беда, и бросились к телефону, уверенные, что их Борис может что-то предпринять. Упустили из виду, что на записке стояла дата — 14 июля 1942 года, — и помочь было поздно.

Пока я натягивал пальто, гремел ботинками по лестнице, на скользкой мостовой ловил машину, они наверняка разглядывали записку, изучали ее.

Я представил себе, как Галя спрашивала:

— Зачем этой балерине пистолет?

И как Дима Молоденький отвечал:

— Она хотела убежать на фронт, раз не могла танцевать.

Галя не соглашалась с ним, все разглядывала поблекшие, как бы проступавшие сквозь туман слова и снова поднимала серые, с расширенными зрачками глаза:

— Но она же пишет, что все кончено! Вдруг она хотела застрелиться?

— Нет! — Дима Молоденький побледнел от слова «застрелиться». —

Врешь!

— Может быть, она попала в плен к фашистам? И решила, что лучше смерть?

Но Галины рассуждения разбивались о Димину логику:

— Из плена не шлют записок.

— Зачем же тогда стреляться?

— Никто не думает стреляться...

Когда я вошел в класс с зеркалами и с поручнями вдоль стен, с черным парусом рояльной крышки, никого, кроме Гали, не было. Она сидела на низенькой скамейке, опершись локтями о колени.

Прямо с порога я спросил:

— Где?

Она легко поднялась и бесшумной походкой балерины подошла ко мне.

— Вот.

Листок лежал у нее на ладони, как крыло бабочки. Я взял бесценную записку и торопливо пробежал глазами по строчкам, чтобы удостовериться, что это она.

Потом, как был в пальто, опустился на стул, за один конец стащил шарф и вдруг почувствовал себя таким усталым, словно проделал пешком огромный путь.

Галя пристально смотрела на меня, видимо стараясь установить связь между мной и той драматической историей, которая смутно угадывалась в словах, выведенных дрожащей рукой. Она ни о чем меня не расспрашивала, только смотрела большими серыми глазами.

Ее ладная, слегка вытянутая фигурка была строго обтянута черным трико. Маленькая головка, гладкие рыжеватые волосы, собранные в тугой пучок на затылке. Уши аккуратно прижаты, и только розовые мочки слегка отходят в стороны. На нос высыпана щепотка веснушек. Под нижней губой глубокая впадинка и сразу подбородок, поднятый вверх бугорком. Длинная шея с голубой жилкой. Плечи отведены назад. Правая ступня перпендикулярна левой, как в третьей позиции.

Она молчала, моя маленькая балерина, но глаза ее спрашивали, требовали ответа. А я тем временем пытался представить ее в гимна-

стерке, с рукавами до кончиков пальцев, в пилотке, которая звездочкой упиралась в бровь. В тяжелых сапогах с железными подковками. И стоит она передо мной, как перед командиром, и ждет, когда я подпишу увольнительную и отпущу ее в Ленинград. А на обороте увольнительной записки нет еще страшных слов «никогда не смогу танцевать...», «раздобудь пистолет...», и они не появятся, потому что время другое. Как этого, другого, времени не хватало тогда Тамаре Самсоновой!

Сколько себя помню, я всегда был беловолосым. Еще в школе меня дразнили «седым»: «Эй, седой, дай списать задачку!» И я давал. Не обижался на «седого». Напротив, мне даже льстило, что, в отличие от других ребят, я был седым. Помню, на уроке физики наш сутулый носастый учитель воскликнул: «Ты не знаешь элементарных понятий! Постыдился бы своих седин!» Но я не стыдился, совершал массу неожиданных поступков, удивлял друзей и ввергал в отчаяние родителей. Например, я стал балетмейстером. И поступил на работу не в театр оперы и балета, а во Дворец пионеров.

Потом командовал минометной ротой. Потом стал киндерлейтенантом...

Если волосы от переживаний меняются в цвете, моим бы следовало потемнеть. Они же остались неизменными, только чуть порыжели, словно их подпалило пламя. Кто знает меня недавно, думает, что я поседел на фронте, в первую зиму блокады... Эх, если бы все переживания отражались только на волосах! Можно было бы при помощи машинки или бритвы уничтожить переживания и принять сразу вид счастливого человека! Мои переживания все при мне, проросли в сердце горькой, жесткой травой. И порой я чувствую вкус этой травы на губах. Неужели эта горе-травка никогда не увянет, не исчезнет, не скроется под снегом?

Человек всегда ждет счастья. А кто же будет жить в надежде на горе?

— Послушай, чадо мое,— оторвавшись от своих мыслей, обратился я к Гале,— ты могла бы расстаться с балетом?

— Нет.— Ее глаза слегка сузились, а локти сильнее прижались к бокам.

— Разве ты бы не нашла в жизни другое занятие?

— Но балет не занятие, он и есть жизнь.

— Ты в этом уверена? Может быть, ты просто не знаешь другого? Только балет.

Мои неожиданные вопросы не смогли ее обескуражить, не потому, что она была уж такая смышленная, для нее и в самом деле не было иной жизни, не могло быть. Она получала по сочинениям тройки, но могла станцевать любой рассказ. Ей было дано это, а другого не было дано.

— Почему вы меня об этом спрашиваете? — вдруг забеспокоилась она.

— Я ищу разницу между тобой...

— И балериной политотдела? — закончила она мою мысль.

— Верно. И пока не нахожу.

— Это плохо? — В голосе ее прозвучала тревога.

Я не ответил на Галин вопрос. Я заговорил о другом:

— Послушай, Галя, ты никогда не была на станции Мга?

— Ой, была! Мы с бабушкой ездили за грибами...

— Понимаешь, там в начале войны стояла моя минометная рота. Ты когда-нибудь видела миномет? Он похож на небольшой телескоп — ствол, направленный в небо. Но мины, которые вырываются из ствола, не долго находятся в небе. Они обрушиваются на землю, и в месте их падения на снегу вспыхивают черные от земли и торфа звезды. И от этих звезд идет пар.

— Красиво?

— Страшно.

— Вы были командиром этих страшных... телескопов?

— Был, пока меня не вызвали в политотдел. Это случилось в марте сорок второго. Я было очень удивился, когда телефонист передал мне приказ явиться на «Эльбрус». Но потом я провел ладонью по щеке — надо ли бриться? — и отправился.

— Не представляю себе, как вы могли жить без балета! — вдруг сказала девушка.

— Я сам не представлял. Война все перепутала. Вернее, расставила по своим, военным, местам. Но даже война не могла обойтись без балета.

II

— Товарищ полковой командир, лейтенант Корбут явился по вашему приказанию.

— Садитесь, Корбут.

Я неловко сел на край стула, словно получил не приглашение, а приказ сесть, и выполнил его.

Полковой комиссар Васильев был невысокого роста, краснолицый, бритоголовый, с маленькими внимательными глазами, которые испытующе смотрели на командира минометной роты, то бишь на меня.

— Давно поседели? — неожиданно спросил он.

— В юности.

— Я думал, на войне... А верно, что вы по специальности балетмейстер?

— Верно, — ответил я и вдруг с удивлением почувствовал, что само понятие «балетмейстер» стало таким далеким, что уже почти не имеет ко мне отношения.

— Потом вы ушли в ополчение. Добровольцем.

Полковой комиссар, видимо, хорошо подготовился к разговору со мной. А я прикидывал в уме, что от меня потребовалось этому бритоголовому комиссару, и никак не мог угадать, что он скажет в следующее мгновение.

— А я решил сбрить волосы, пока не поседел, — неожиданно сказал он. — Так вот, Корбут, нам нужен балетмейстер. Хотим при политотделе



создать небольшую танцевальную группу для обслуживания частей. Соберите способных бойцов — и за дело! — Он широко улыбнулся и спросил: — Как вы на это смотрите?

— Отрицательно, — ответил я. — Чтобы из этих «способных» сделать танцоров, мне потребуется два года.

— Ну, Корбут! Ну, лейтенант! — Полковой комиссар вышел из-за стола и приблизился ко мне.

Я тоже встал, одернул гимнастерку и сказал:

— Отправьте меня в роту к моим бойцам. От меня там теперь больше пользы.

— Где от вас больше пользы, нам лучше знать. — Комиссар произнес эти слова жестко, так произнес, что я понял: со мной дело решенное. Он пристально посмотрел на меня и спросил: — Где я вам возьму два года? Через два года война кончится.

Я задумался... И вдруг в моем сознании мелькнула четкая, неожиданная мысль: «Тачанка!» Я почему-то сразу вспомнил Аничков мост с четырьмя неукрошенными конями, Дворец пионеров, освещенную сцену и «Эх, тачанка-ростовчанка, наша гордость и краса...».

Вот «Тачанка» — танец — вырывается из-за кулис на необозримый простор сцены. И всем сидящим в зале начинает казаться, что они тоже мчатся следом за тачанкой. Давай, давай! «Пулеметная тачанка —

все четыре колеса!» Нету никаких колес, есть ребячьи ноги, тоненькие, но крепкие, гулкие, проворные. Они и колеса, они и подковы. Четыре коня врзлет. Гей, гей! Возница натянул вожжи. Пулеметчик саблю подмышку и припал к невидимому пулемету. Жмет на гашетку. И все видят, как пулемет трясется, дымится, а ветер срывает огненный язычок с дульного среза. Боевой разворот. Кони взметнулись на дыбы. И снова очередь, похожая на отрывистый звук трубы, вернее, звук трубы, похожий на очередь.

Где командир? Кто подает тачанке неслышные команды: «Разворот, стоп, огонь! Погоняй, погоняй!»? Этот командир — я. Я стою за правой кулисой. Я еще не военный, а уже командую. Рука вытянута, сжата в кулак. Раз-два! Быстрее! Легче! Легче! Раз-два! Я вижу только руки, ноги, плечи, глаза. Из них я создал тачанку, в которую все поверили.

Исчезли канделябры, пропала лепнина дворцового потолка. Кресла превратились в седла. И вот уже синеег окаем. Над головами плывут облака, небольшие, серые, похожие на разрывы шрапнели. Ветер гонит поземку пыли, оркестр звучит как бы издалека, отстал от тачанки. А она, моя танцевальная тачанка, оторвалась от земли и летит навстречу облакам, похожим на разрывы...

Я смотрел на полкового комиссара и чувствовал, как глаза мои веселеют. А он не понимал, что со мной происходит, не догадывался, что во мне ожила прославленная пионерская тачанка.

— Хорошо, — сказал я. — До войны в Ленинградском Дворце пионеров был прекрасный ансамбль. Я руководил танцевальной группой. Разрешите мне разыскать в городе своих ребят...

— Но-но-но! — Полковой комиссар протестующе выставил руку, взял коня под уздцы и осадил. — Вы предлагаете привести на фронт детей? Под пули и осколки? Да кто вам дал право рисковать их жизнью?

Я молча смотрел в глаза комиссара и терпеливо ждал, когда он скажет все, что, будь я на его месте, должен был бы сказать тоже. Когда же полковой комиссар умолк, заговорил я:

— Вы считаете, что в городе, окруженном врагами, дети подвергаются меньшей опасности? Или там не рвутся бомбы и снаряды? А сколько ребячьих жизней уносит тихая голодная смерть? Тут мы их еще побережем. Подлечим. Подкормим. Может быть, кое-кому спасем жизнь. А танцоры они превосходные.

— Ну, Корбут! Ну, лейтенант! — снова воскликнул полковой комиссар и заходил по кабинету.

Я почувствовал, что полковой комиссар если и не соглашается, то по крайней мере категорически не отвергает мое дерзкое предложение, и теперь он уже спорит не со мной, а с самим собой, потому что, видимо, привык, прежде чем принимать решение, обдумать его: побросать с руки на руку, как горячую картошку.

— Ну, Корбут! Ну, учитель танцев!

Он весь был в движении, работала не только его мысль, но все его ладное тело двигалось, помогало мысли.

И вдруг он остановился.

— Согласен! — сказал он. — Ответственность за эту операцию будем делить поровну. Идет?

Его маленькие глаза стали еще меньше, и в них зажглось какое-то озорное, доброе лукавство, которое безошибочно отличает человека от солдафона.

— Получайте предписание и отправляйтесь в Ленинград. Ну, Корбут! Ну, киндерлейтенант!..

Так родилось мое прозвище «киндерлейтенант», что в переводе на русский язык означает «детский лейтенант».

На мне полушубок, валенки, меховые рукавицы. В кармане у меня предписание: пропуск в Ленинград. Я иду по Невскому от Московского вокзала, куда меня доставил поезд. Паровоз и один вагон. Маленький поезд, удобный, чтобы уходить из-под обстрела.

Я не был в родном городе полгода, но мне кажется, что прошла целая вечность. Эпоха! Эта страшная, бесконечно длинная эпоха превратила цветущий город в какие-то мертвые, ледяные Помпеи.

Я был на фронте, а за моей спиной происходило дикое извержение.

Кажется, не снег, а белый остывший пепел занес Невский проспект. Трамваи замерли. Слепли. Онемели. Стали похожи на ископаемые существа, сохранившиеся в вечной мерзлоте. Не верилось, что когда-то они пели на поворотах, звенели в свои, родные слуху звоночки, издавала светили разноцветными огнями: у каждого маршрута свои огни.

Наши дорогие «четверки», «девятки», «семерки». «Вы выходите у Пяти углов?», «Следующий Невский», «Кто выходит у Кирочной?». Но это было в той далекой эпохе, которую теперь называют «мирным временем».

Я иду по узкой тропе, проложенной в снежных завалах Невского проспекта. Мимо «Колизея», мимо «Художественного», мимо «Новостей дня», к «Титану». Эти кинотеатры как бы вехи моей жизни. Здесь я смотрел «Путевку в жизнь», «Чапаева», «Дети капитана Гранта», выпуски хроники из Испании. Теперь они погасли и вымерзли. Нет афиш. Нет огней. А темные залы, вероятно, похожи на огромные склепы.

И вдруг Аничков мост без клоттовских коней. Куда девались дикие кони, которых чугунные атлеты никак не могли укротить? Погибли? Умчались в бой? Вернутся ли они когда-нибудь на свои пьедесталы? Или их где-нибудь под Мгой расстреляют из противотанковых пушек прямой наводкой, бронейными...

По радио звучит метроном, разрушает тягостное безмолвие. А может быть, это не метроном, а кто-то из ленинградцев приложил микрофон к сердцу и усилил голос сердца так, что его слышит весь город?

Голодный понос... Дистрофия... Тихие, невидимые пули подкашивают их. Чьего-то сына. Чьего-то деда. Чью-то сестру. Иногда — бесшумные, иногда — гремящие, огненные осколки снарядов и бомб.



Но Ленинград не Помпея.

Мне казалось, что все не на самом деле, а в каком-то страшном сне. Снятся сугробы... Снятся люди-призраки... Пустые пьедесталы на Аничковом мосту... Удары сердца, которые, как музыку, транслируют по радио. Это мое сердце, сжимаясь от боли, звучит на весь родной город.

У меня в кармане предписание политотдела и список адресов. Я обхожу эти адреса как почтальон. Как самый несчастный почтальон, который не может застать дома ни одного адресата. Нет адресатов. Кто эвакуировался, кто в больнице, кто выбыл навсегда.

Я иду и в такт своим шагам бормочу стихи Жуковского:

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает барабанщик...

Я вроде того барабанщика бью тревогу. Я бужу не егерей и не гренадер, не гусар и не кирасир. Я бужу маленьких танцоров из ансамбля Ленинградского Дворца пионеров. Бужу прославленную «Тачанку».

«Эх, тачанка-ростовчанка... Наша гордость и краса...» Я зову тебя. Не просто зову — я, пока еще лейтенант, командир минометной роты, приказываю: мчись скорей ко мне из той прекрасной эпохи, когда на Аничковом мосту еще стояли кони. Вырвись из-за кулис на необозримый простор!

Леню Иосимова, лучшего танцора ансамбля Дворца пионеров, я не застал. Всего на десять дней опоздал я. Пришел бы раньше, может быть, помог бы ему выжить...

В двенадцать часов по ночам
Выходит трубач из могилы...

Нет у меня никакой трубы, нет барабана. Я иду по скользкой мартовской стезжке, протоптанной по улице, как в лесу или в поле. Потом сворачиваю в арку дома, где в половине окон вместо стекол фанера. Дверь висит на одной петле, жалобно поскрипывая, когда дует ветер. Ранена.

На лестнице выбиты все стекла, а может быть, разобраны жильцами. На площадке намело островки снега. Лестница мрачная. Кажется, сейчас, треща крыльями, вылетит летучая мышь. Поднимаюсь на третий этаж. Квартира тридцать. Костяная кнопка звонка. Жму изо всех сил. Звонок молчит, умер. Тогда я стучу долго и отчаянно. От этого стука болит кулак. И вдруг дверь открывается. На меня смотрит высокая сизоволосая старуха, а может быть, просто немолодая женщина, а может быть, и молодая, сломленная блокадой. Она стоит передо мной и как бы не видит меня. Ничего не спрашивает.

Я говорю:

— Тамара Самсонова...

Говорю с опаской, потому что боюсь услышать в ответ: уехала или еще страшнее... Но она, сизоволосая, ничего не говорит. Она поднимает руку — тяжело поднимает — и указывает на дверь в коридоре. Значит, Тамара есть.

Я так рад, что она есть! Пересекаю прихожую, берусь за ручку и, позабыв постучать, распахиваю дверь.

Мне в глаза бьет солнце. Оно такое слепящее — ведь на дворе март! — что кажется, должно было бы греть. Но оно не греет. Словно не дозрело, раньше времени запущено в небо. А может быть, оно стало таким, пережив блокадную зиму, наше бедное ленинградское солнышко.

Оно светит, и в его лучах я вижу девочку, стоящую в эмалированном тазу на круглом доннышке, — худенькую, вытянутую, босоногую, вообще нагую. Девочка льет себе на плечи теплую воду, которую черпает из ведра, что дымит рядом на круглой печурке системы «буржуйка». Теплая, живая вода течет по узким плечам, по глубокой ложбинке, что пролегла между остро выступающими лопатками, по ребрышкам, едва обтянутым кожей, по худым, совсем детским бедрам. Она, видимо, не мылась целую вечность и вот набралась сил, распилила последний стул, нагрела воды. Она выливает на себя ковшик и, вероятно, испытывает пьянящее блаженство и поэтому не замечает моего появления, не услышала, как я открыл дверь, вошел. А я с щемящей болью разглядываю ее желтое, иссушенное голодом, увядшее тельце, и мне кажется, что за год, который мы не виделись, она не выросла, а стала меньше. Теплая вода благословенными ручейками течет по острым позвонкам, по сухоньким ягодицам.

И вдруг — я не знаю, как это произошло, — она чувствует, что в комнате кто-то есть, обнаруживает мое присутствие. И сразу скрещивает руки на груди и опускается на колени, чтобы было меньше незащищенной наготы.

— Кто там?

— Это я, Тамара. Корбут.

— Корбут?!

Не верит. Поворачивает голову и разглядывает меня через плечо. То ли она не признает меня, то ли не радуется мне, потому что отучилась радоваться. Смотрит на меня, как на призрак, не верит в реальность моего появления. К тому же я одет в военное. Таким она меня никогда не видела.

И вдруг, как бы очнувшись, восклицает:

— Ой, не смотрите! Закройте глаза! Вы живы?

Она опускает голову, прячет подбородок в руки, скрещенные на груди. И ее розовые пятки упираются в борт таза.

Я закрываю глаза — честно закрываю — и говорю:

— Я жив, Тамара. Пришел за тобой.

— Вы закрыли глаза?

— Закрыв.

Я слышу бульканье воды. Торопливое. Она спешит. Вода шлепается на пол.

— Как хорошо, что вы живы! — Она снова произносит слово «живы», ей нравится произносить его. — Вы живы! — И снова булькает вода.

Я чувствую, что ей трудно мыться. Обессилела она от такой нагрузки. Вода все чаще проливается мимо, не попадает, куда нужно. Плюхается на пол и застывает маленькими озерцами. И тут мне показалось, что это моя младшая сестренка и, значит, не может быть никаких стеснений. И я говорю решительно:

— Тамара, позволь, я тебя домою. Слышишь?

— Вы не открыли глаза?

— Я помою тебя с закрытыми глазами.

Она медлит с ответом. Никак не может решить: пристойно ли, чтобы молодой мужчина мыл ее, касался ее тела, пусть даже с закрытыми глазами. Она же уже два лета купается не в трусиках, а в купальном костюме, который строго обтягивает тело и слегка вздувается на груди двумя робкими бугорками.

Наконец доверие ко мне побеждает. И она через силу говорит:

— Только спину... мне не дотянутся.

Я быстро расстегиваю португую. Сбрасываю теплый, пахнущий овчиной полушубок. Я закатываю рукава гимнастерки и, не открывая глаз — нельзя же нарушать слово! — иду вперед, выставив руки, как слепой. Мне на память приходит почему-то святая Инесса, которая скрывает свою наготу длинными, до земли, волосами. А у Тамары волосы короткие. Подстрижена под мальчишку. Я касаюсь протянутой рукой теплого, влажного плеча и чувствую, как она вздрагивает.

— Давай мыло.

Она протягивает мне маленький скользкий обмылок — вероятно, это кусочек мраморного мыла, белого в синюю крапинку, каким до войны стирали белье. Я ловлю его, как живое. И вот я уже вожу ладонью и мылом по Тамариной спине. Теперь я чувствую острые лопатки, выступающие наружу позвонки, похожие на клавиши ребрышки, едва покрытые кожей. Хорошо, что у меня закрыты глаза и я не вижу вблизи ее спину. Тамара, видимо, угадывает мои мысли. Спрашивает:

— Я очень худая?

— Ты нормальная, — отвечаю. — Балерина и не должна быть полной.

Она пропускает мои слова мимо ушей и говорит:

— По-моему, я худая, как старуха. Борис Владимирович, это пройдет?

Я лью воду и чувствую, как ее знобит. От стыда и холода. От мучительного сознания, что она не может даже домыть себя. А я лью воду и смываю ладонью мыло.

— Мама уже вторую неделю в больнице, — говорит она. — Голодный понос... Зачем вы пришли за мной, Борис Владимирович?

— Сейчас все расскажу! — говорю я и поднимаю с пола свой полушубок. Потом заворачиваю Тамару в овчину, как дитя. И поднимаю на руки.

Она оказывается удивительно легкой. Мне становится страшно этой легкости. Я несу ее на диван, и тут мы смотрим друг другу в глаза. Она не выдерживает моего взгляда и говорит:

— Простите, мне так стыдно!

— Глупости! — отрезаю я резко, даже грубо. — С каких пор ты начала стыдиться меня, чадо мое? Теперь лежи и сохни. Дело вот какое. При политотделе армии создается танцевальная группа. Я решил собрать наших ребят... кто есть... оказался на месте.

Я думал, она наконец обрадуется, оживится, начнет расспрашивать про танцевальную группу. А она смотрит на меня своими большими, увеличенными от худобы глазами и спрашивает:

— Зачем это? Кому надо? Да и танцевать-то я... не смогу. И не хочу.

— Захочешь! — говорю я. — Тамара Самсонова — да не захочет танцевать!

— Нет больше Тамары Самсоновой, — говорит она, кутаясь в теплую овчину. — Я уже совсем другая... блокадная девчонка.

— Ты не другая. — Я опустился рядом с ней на диван. — Жизнь другая, а ты прежняя. Одевайся, я отвернусь к окну.

III

Галя смотрела на меня непонимающими глазами.

Эти глаза никогда не видели Невский, занесенный снегом, где по сугробам змеилась небольшая узкая тропа. Весь Невский уместился на этой тропке — последнем ручейке жизни.

Не видела Галя, как падает человек и больше не поднимается. Раны нет. Крови нет. Упал, сраженный пулей-невидимкой... Дистрофия, голодный понос. Утрата интереса к жизни... Трубы остыли, не дымят. Уставились черными, безжизненными жерлами в зенит, а над ними, в сером, загустевшем, как вода, небе, серебристые рыбы аэростатов ограждения: город погрузился на дно, над ним плывут рыбы, а ночью сквозь толщу воды чуть поблескивают звезды... Но маленькие печурки выставили свои трубы в форточки-амбразуры, и над ними теплятся слабые призрачные дымки. Словно война разменяла могучие городские дымы на множество мелких, слабых, немощных. До войны люди приходили к соседям на чай, на пирог. Теперь приходят на тепло. Люди остаются людьми. Понимаешь, Галя?

Трудно понять, если глаза не видели этой невосковой тропки, на которой люди жили и умирали. Так и лежали на обочине, Галя!

— Зачем вы мне об этом рассказываете?

— Разве тебе это не интересно?

— Мне страшно.

— Ты должна побороть этот страх.

— Зачем? Чтоб быть похожей на нее... на балерину политотдела? Разве обязательно быть похожей на нее? Она хорошо танцевала?

Эта девчонка атаковала меня своими наступательными вопросами, на которые не ответишь односложно: да — нет. Не ответишь на них и рассуждениями. Можно ответить только жизнью. Своей либо чужой. Чья жизнь больше подходит для ответа.

В какое-то мгновение мне показалось, что я мысленно надел на Галю не ту военную форму, которую носила Тамара Самсонова, а всего лишь танцевальный костюм из «Тачанки».

Нас семеро: шесть ребят и я. Мы идем, вернее, плетемся по ледяным сугробам Невского. Вадик не может идти, мы везем его на саночках.

Снег под саночками поскрипывает. Под снегом лежат безжизненные трамвайные рельсы. А я помню, как они поют, гудят под колесами трамвая — два веселых городских ручейка... Рослый Сережа согнулся, но не сдается, тащит. Ему помогает Шурик, самый маленький, самый проворный в нашем дворцовом ансамбле. Сейчас его качает из стороны в сторону, но он не жалуется, тащит. Еще приговаривает: «Ходить надо уметь... Ходить надо любить!..» Рассудительный малый. Девчонки — Тамара Самсонова, Алла Петунина и Женя Счастливая — предлагают сменить мальчишек. Но те не соглашаются. Тянут саночки до тех пор, пока я их не прогоняю и не впрягаюсь сам. Все, что осталось от нашей «Тачанки». Но главное, не падать, двигаться, верить, что «застрочит из пулемета пулеметчик молодой».

Я наблюдаю за Тамарой. Ее маленькая головка укутана большим маминым платком. Платок делает ее взрослой. Тамара не шутит, не улыбается. Молчит. Она поглощена мыслями о том, что происходит с ней, с ее товарищами. Наверное, все так невероятно, что кажется сном. Она только беспокоится, как бы Вадик не замерз. Трясет его за плечо, не дает уснуть.

— Ты что? — спрашивает Вадик.

— Не спи!

— Я не сплю. Просто тяжело с открытыми глазами. Зря вы меня везете. Не смогу я танцевать. Никогда не смогу.

— Молчи, — говорит Сережа. — Сможешь. Мы поможем тебе...

И снова тихо. Скрип саней. До Московского вокзала недалеко. Улица Марата, следующая Пушкинская. Это до войны было недалеко, а сейчас...

Наконец девочкам удалось прогнать мальчишек. Те, фырча и огрызаясь, отдали им веревочку. Ворчат-то они, ворчат, но силенки совсем иссякли. Шурик незаметно держится за Сережу.

Как хорошо, что я разыскал своих ребят. Но их только шестеро из сорока! Где остальные? Кто из моих питомцев погиб, кто эвакуировался? Когда-нибудь потом узнаем.

— Ну, киндерлейтенант, показывай свое войско!

Полковой комиссар Васильев заложил ладони под ремень, расправляет суконную гимнастерку, и его маленькие глазки весело разглядывают ребят. Отчего у него такое хорошее настроение? Почему он окрестил меня киндерлейтенантом? Так вот, ни с того ни с сего.

Мои ребята стоят в строю. Если это только можно назвать строем. Сережа Марков в своем коротком пальто и в рыжем треухе, который налезает ему на глаза и совсем скрывает брови. Вадик Ложбинский поверх старого лыжного костюма напялил пальто и уже успел оторвать половину пуговиц, а на голове у него спортивная шапочка с помпоном. Руки он — это в строю-то! — упорно держит в карманах: мерзнут у него руки даже в помещении. Маленький Шурик Грачев в дедовских валенках и в ватнике до колен, подпоясанном ремнем от брюк, выглядит



этаким мужичком с ноготок. Пялит глаза на комиссара. А валенки его — носками вместе, пятками врозь. Это мужская половина моего войска. Дальше стоят девочки. Тамара в своем огромном платке, которого хватило бы закрыть и голову и грудь, и опоясаться им, и завязать на животе узлом. Под платком шубка из козьего меха, на ногах ботинки. Женя Сладная в пальто и в «эскимоске» — шапке с длинными ушами, заменяющими шарф: она обмотала ими шею.

Алла Петунина в пальто с меховым воротником и в меховой шапочке. У нее под шапочкой был шерстяной платок, но она успела снять его и сунуть в карман. И теперь платок торчит из кармана.

Все стоят, смотрят на полкового комиссара, ждут, что с ними будет дальше.

— Хорошо войско,— говорит он.— Не боитесь фронта?

Ребята молчат. Ошеломлены переменами, произошедшими в их жизни, не знают, что отвечать. Неужели бывает еще страшнее, чем фугаски, горящие дома, осколки снарядов, холод, голодный понос?





Не получив ответа, комиссар спрашивает:

— Танцевать сможете?

И вдруг Вадик — не кто-нибудь другой, а Вадик! — делает шаг вперед и говорит:

— Сможем!

И через неделю состоялся первый концерт.

«Эх, тачанка-ростовчанка!..» Что же ты, тачанка, так медленно берешь разгон! То ли повозка стала непомерно тяжелой, то ли кони ослабли. Молчит пулемет. Возница опустил вожжи.

Наш баянист дядя Паша прижался щекой к баяну. Тонкие сухие пальцы пробегают по костяшкам клавиш. Хочет помочь тачанке музы-

кой. Кони движутся медленно. Словно возвращаются из боя усталые, взмыленные, тяжело дыша, опустив глаза.

Мы даем первый концерт для медработников нашей армии. В актовом зале школы. Зал не топлен. Сестры, фельдшера, военврачи сидят в тулупах, в шапках. От дыхания стоит пар.

Я притаялся за правой кулисой. Закусил губу. Растерян. Не знаю, как помочь своей старой «Тачанке»: если она не помчится, все погибло. У меня перед глазами Невский с мертвыми трамваями. Саночки, запряженные четырьмя ребятами. Вадик в санях. Тусклоглазый. Погасший. Ему все равно, куда его везут, зачем. Тамара держит его за плечи, идет сзади... Но и тогда я верил, что тачанка помчится. А в тот момент казалось, все рухнет. Полковой комиссар скажет: «Ну, Корбут! Ну, киндерлейтенант!»

Давайте, ребятки! Легонько. Только обозначьте движения. Они медленно передвигаются по сцене — шестеро ребят в форме буденновцев, красные нашивки поперек груди, на головах островерхие суконные шлемы. И вся эта довоенная амуниция оказалась впору. А раньше каждый год перешивали. Не выросли мои чада, не вытянулись, не стали шире в плечах. Но если вы не станцуете — все погибло. А вернуть вас в ваши ледяные голодные гнезда сердце не позволяет.

Но вот артисты как бы немного разогрелись. Кони задвигались быстрее. Возница замахал кнутом. Пулеметчик оживился — молодец, Тамара! — «застрочил из пулемета пулеметчик молодой».

Зрители замерли. Не дышат. На глазах у женщин — слезы. Не легкое дело смотреть, как танцуют блокадные дети. А они, медработники, лучше других понимают, каких усилий и боли стоит этот танец.

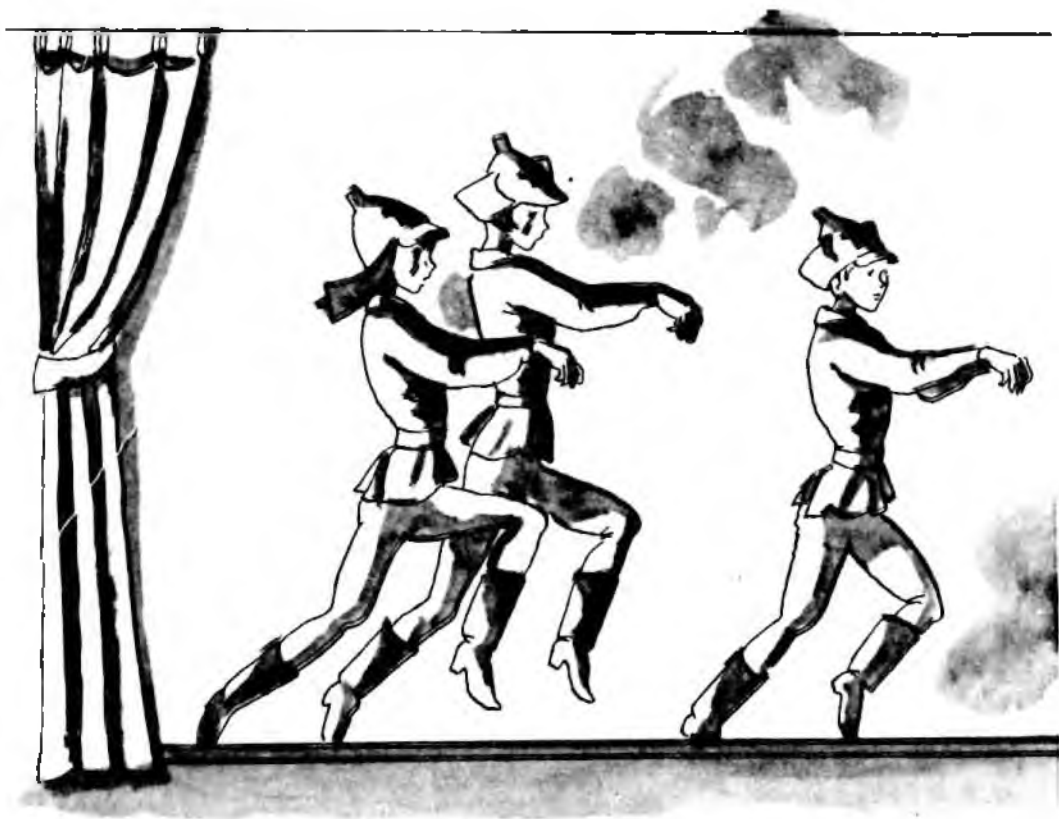
Танцуют, танцуют! Помнят все движения. Только нет легкости. Да в бою и не может быть легкости! Вадик так разошелся, что сделал глубокий выпад: натянул поводья. Молодец! А неделю тому назад мы везли его на санях с блокадным диагнозом: утратил интерес к жизни. Хорошо, хорошо, Вадик! Я уже не думаю, а произношу вслух. Может быть, даже кричу: «Хорошо, Вадик!» Теперь хватит, поднимайся! А подняться он не может, нет сил, упал на колени... Остановилась тачанка, припала на одно колесо. Кони уронили головы. Ранило возницу. А дядя Паша еще играл по инерции. Потом баян умолк.

Зал был тих. Словно не было в нем зрителей. Никто не хлопал, никто не переговаривался. Только беззвучные парки от дыхания...

И тогда встал полковой комиссар, одернул гимнастерку, поднялся на сцену, где ребята помогали встать Вадиду.

— Запрещаю продолжать концерт, — глуховатым голосом сказал он. — Всех танцоров — в госпиталь.

Зал зааплодировал. Было непонятно, чему аплодируют люди: «Тачанке» или приказу полкового комиссара. А когда хлопки замерли и зрители уже начали подниматься с мест, снова зазвучал баян, и я увидел, как Тамара Самсонова подошла к полной фельдшернице, стоявшей у самой сцены, и сказала тихо, чтобы никто не слышал:



— Поцелуйте меня в обе щеки, только покрепче!

У фельдшерицы глаза округлились от удивления. Но спрашивать «зачем» она не стала. Выполнила ее странную просьбу, чмокнула в обе щеки ярко накрашенными губами.

А Тамара проворно размазала следы помады по щекам. И стала румяной. Не бывают такие худые, со впалыми щеками румянными. Она же, наперекор всему, стала. А дядя Паша уже выводил проигрыш цыганского танца. Тамара вышла на сцену.

Все это произошло так быстро, я и сообразить не успел, что она задумала, а полковой комиссар, только что отдавший приказ отменить концерт, растерялся и выжидал, что будет дальше. А дальше — Тамара развела руки и притопнула каблучком. Ее грудь поднималась и резко опадала, но это было заметно только мне, в зале этого не видели. Она шла по кругу, и плечи, ее худенькие плечи, расправлены, головка с пепельными, коротко подстриженными волосами гордо вскинута. На ней не было ни длинной юбки, ни яркой блузы с широкими рукавами, ни



звонящих монист. Гимнастерка, солдатские сапоги, суконный буденновский шлем с малиновой звездой. Нет, на сцене появилась не цыганка, а молоденький боец-буденновец, после боя решивший станцевать для товарищей цыганочку. Большеголазый, с ввалившимися щеками, на которых бог весть отчего вспыхнул румянец. Раз рукой по каблучку, два... «Дядя Паша, почаше!»

Я слышу это «почаше» и показываю дяде Паше кулак. Но он не видит моего кулака. Прижался щекой к баяну и смотрит одним глазом, зорким, внимательным, на который чертополохом налезает густая рыжая бровь. Он как бы прислушивается не к баяну, а к сердцу Тамары, выбирает ритм, чтобы не загнать сердце.

За кулисой еще никак не может отдышаться разбитая «тачанка». Вадик сидит на стуле. Уронил голову. Руки повисли вдоль тела. Но пусть тачанку перевернуло взрывом, пулеметчик — Тамара — жив. Танцует — и значит, тачанка жива.

Я смотрю то на Тамару, то на полкового комиссара. Тамара дер-



жится. Полковой комиссар не бушует, даже перестал тереть затылок. Забыл о своем приказе. Плечи его опустились, и он, полковой комиссар, уже не старший начальник — искусство уравнило его с рядовыми красноармейцами, медсестрами, военврачами... Они сидят вокруг. Притихли, покоренные не то искусством, не то мужеством Тамары Самсоновой.

А я замер за правой кулисой, напряжен до предела. Я-то знаю, что под этой гимнастеркой — кожа да косточки, лопатки остро выступают. Только бы она не упала! Только бы... Эй, дядя Паша, кончай свою музыку! Если она упадет, то уже не поднимется. Но я не смею крикнуть «Хватит!», не смею скомандовать «Отставить!». Потому что, когда творится высокое искусство, никто не вправе командовать.

Я закрыл глаза, а открыл их только тогда, когда в зале зазвучали аплодисменты. Занавес закрылся. Тамара все еще стояла на месте, не в силах сделать шага. Может быть, даже не слышала, как хлопают в зале медсестры, хлопают и... плачут. Тамара держится рукой за занавес и бледными губами шепчет:

— Помогите мне... дойти.

И только румянец — два поцелуя, размазанных по щекам, — как военный камуфляж, вводит в заблуждение.

IV

Политотдел армии помещался в двухэтажном кирпичном здании пригородной школы, что стояла на берегу Невы. Чтобы алый кирпич не очень бросался в глаза, его замазали побелкой, и казалось, что школу занесло нетающим снегом. На окнах огромными знаками умножения — крест-накрест — бумажные полосы. Но ни побелка, ни бумажные кресты не могли уберечь бывшую школу от фашистских снарядов. Правый флигель был разбит, исковеркан, покрыт ядовитой черной копотью. А левый был цел, и в нем, в одном из классов, поместили нашу танцевальную группу. Парты сдвинули к стене, установили печурку с длинной трубой, выведенной в форточку, расставили железные койки,



между «мужской» и «женской» половиной натянули несколько плащ-палаток.

Черная доска как висела в классе в мирное время, так и осталась. Большое ночное окно в прошлое, она напоминала ребятам их школу, их жизнь без тревог, бомбежек, голода...

На доске мелом было написано: «Завтра: подъем в шесть, завтрак в семь, политинформация в семь тридцать, экзерсис в восемь, выезд на концерт в десять».

Был вечер. Девочки сидели с ногами на койках, а мальчики раскучивались на табуретках. Где-то очень далеко была артиллерия, и стекла не звенели, а едва вздрагивали. Никто не обращал на это внимания — привыкли.

— Хотите, я станцую партию Одетты? — неожиданно спросила Тамара.

Кто-то усмехнулся. Кто-то сказал: «Давай!» И невидимая дирижерская палочка взлетела, подала невидимому оркестру знак: внимание! Огромный зал, тоже невидимый, стал затихать, умолк, перестал сопеть и кашлять, затаился. Люстра, главная театральная люстра, зажмурилась, и лампочки сперва превратились в красные угольки, потом потемнели. И грянула музыка — неслышная. Поплыл занавес. Вспыхнули софиты...

А Тамара уже кружилась — из бывшего класса с баррикадой парт перенеслась на сцену настоящего театра оперы и балета. Она вставала на носочки и как бы отрывалась от земли. Она не танцевала, а рассказывала о своей любви, признавалась в любви, пела любовь каждым движением.

Ватник, грубый солдатский ватник, просторные шаровары из чертовой кожи превратились в пачку. Только пуанты не постукивали жесткими клювиками по доскам пола, потому что вместо них на ногах были шерстяные штопаные-перештопаные носки.

Стены класса раздвинулись. За окном утихли выстрелы. Тусклая лампочка расцвела солнцем. Танцуй, танцуй, Одетта, пока не появился

Черный Гений! Эгих чёрных гениев так много неподалеку от тебя, километрах в десяти, за Невой... Но они не должны победить тебя, Одетта. Они должны сгнуть с родной земли...

Потом Тамара упала на койку и замерла. Только сердце продолжало стучать горячо и учащенно, словно для него, для сердца, танец еще не кончился.

Тамара оторвала голову от подушки, улыбнулась:

— А жить нам было суждено!

Она вообще любила повторять эти слова, словно взятые из стихотворения.

И тогда кто-то из девочек, по-моему Алла Петунина, сказала:

— Сейчас бы поесть жареных макарон, посыпанных сахарным песком. И чтобы целую сковородку.

— Не-ет, не надо макарон,— возразил Сережа.— Вареную картошку в мундире. Чистить и макать в подсолнечное масло.

— Я люблю котлеты,— сказал Вадик.— Покупные. Я их всегда ел, когда приходил из школы. Съел бы их сейчас штук десять.

А Женья Сладная сказала:

— Хочу, чтоб было много теплого хлеба и брусочек масла. Хлеб теплый, с хрустящей серебристой корочкой, а масло твердое, когда мажешь — выступают капельки...

Все сглотнули слюну и замолчали.

А я лежал за стенкой на койке и слышал этот разговор. И мне становилось душно. Я вспомнил своих ребят, когда они мечтали о полете в стратосферу, о полюсе, о сцене Большого театра. Неужели война заглушила в них все эти высокие порывы? И остались жареные макароны и картошка с постным маслом? Но потом отчаяние у меня сменилось иным чувством. Мне стало нестерпимо жаль своих ребят. Так жаль, что я бы согласился сам голодать, чтобы они поели вдоволь...

Я закрыл голову подушкой, чтобы не слышать их голосов. И долго не мог заснуть.

А на другой день, когда они вернулись с концерта усталые, до костей продрогшие в кузове старой полуторки, открытой всем ветрам, и вошли в свой «класс», на столе лежала буханка хлеба, пачка печенья и брусочек масла.

От неожиданности у ребят перехватило дыхание. Они молча окружили стол, на котором лежало это богатство. Сказочное богатство! Молча достали нож и точно — на такую точность способны только люди, пережившие блокаду! — разделили хлеб, печенье и масло на шесть равных частей. И, не глядя друг другу в глаза, стали есть. Тогда никто не думал: откуда это? Не думал, что кто-то оторвал этот хлеб и это масло от себя.

Ели. Молча. Быстро. С опущенными глазами. И только когда от угощения ничего не осталось, пришли в себя. Стали раздеваться, разуваться, греть руки у пылающей печурки.

Только Тамара Самсонова не сдвинулась с места.

— Ты что, Тамара? — спросил Вадик, стаскивая тяжелые валеные сапоги.

Тамара повернулась к ребятам и медленно расстегнула шинель.

— Мне стыдно! — вдруг заявила она. — Мы съели чью-то долю. Как звери набросились...

— Почему чью-то? — удивился Вадик. — Ведь лежало на нашем столе. Кто-то принес...

— Вадик, — мягко сказала Тамара, — но хлеб принес не добрый волшебник. Ты же не веришь в волшебников? Давайте считать, что сейчас у нас комсомольское собрание. И мы принимаем решение: «Никогда не говорить о еде!» Кто «за» — поднимите руки.

Некоторое время ребята стояли неподвижно, никак не могли взять в толк, зачем все это. Но потом, это почувствовала Тамара, стало доходить до остальных ребят. И все подняли руки.

— Борис Владимирович, зачем вы это сделали?

— Что я сделал? Ты о чем, Тамара?

— Вы сами знаете. Вы не имели права это делать, у вас в Ленинграде сестра... мы ведь знаем. Мы, конечно, хороши! Увидели хлеб и не удержались. Нам очень стыдно.

Она стояла передо мной взволнованная, и в ее маленькой закинутой головке чувствовалась такая решимость и непримиримость, что я растерялся. Я уже не мог прикидываться, что ничего не понимаю. Я должен был ей ответить. Но не был готов.

Я спросил:

— Почему ты решила, что это я?

— Потому что вы не просто военный, а киндерлейтенант. Потому что у вас душа такая. А мы получаем полное котловое довольствие.

— Чадо мое, вы пережили такой голод, который не утолишь еще долгие-долгие годы. Я-то ведь понимаю. Этот голод похож на ужас, от него веет смертью.

— Мы дали себе слово. Приняли комсомольское решение: никогда не говорить о еде.

— Тебя подслушивает враг? — пошутил я.

— Другим тоже не все можно слышать. Борис Владимирович, вы очень хороший, очень близкий нам человек. Но ведь мы уже не ребята из Дворца пионеров.

Я подошел к Тамаре, положил ей руки на плечи. И почувствовал в этих худеньких плечах какую-то упрямую силу.

— Разве на моем месте ты не поступила бы так же? А что касается ребятшек из Дворца пионеров, то от них все же что-то осталось. Под шинелью и под шапкой, надвинутой на глаза.

Я опустил руки.

А она тихо пошла прочь. И я вдруг понял, как мне дорога эта упрямая девчонка.

...Мы — фронтовые танцоры. Мы странствуем по частям и подразделениям. Выступаем в заброшенных домах и в землянках. При свете коптилок и свечей, порой гаснувших от вихря, который в танце поднимает мои ребята. Мы разучиваем новые танцы прямо на ходу, на шоссе, там, где асфальт не разбит осколками снарядов. Мы движемся на тряских полуторках, на подводах, пешком. Иногда нам приходится делать большие переходы. И тогда мы по совету нашего маленького мудреца Шурика приговариваем: «Ходить надо уметь, ходить надо любить». Идем, раз надо. Идем, да еще тащим за плечами вещевые мешки с костюмами.

Раз, два, левой! Впереди киндерлейтенант — я, за мной — дядя Паша, наш старый баянист с ящиком, висящим на ремне. За баянистом — остальные.

И вот впереди, в поле, красным островом возникает кирпичный завод. Труба, по всей вероятности сбитая прямым попаданием снаряда, лежит в траве, расколота на несколько кусков. А основание трубы похоже на крепостную башню. Завод частично разрушен: он был превращен в крепость и его штурмовали как крепость. В стенах зияли проломы, а там, где горел мазут, стены покрылись черной липкой копотью.

Мы выступаем в жерле огромной печи для обжига кирпича. Часть жерла — зрительный зал, часть — сцена. До начала выступления наши дорогие зрители, бойцы, потрудились: расчистили от битого кирпича сцену и соорудили для себя места в «зрительном зале» всего из того же кирпича.

Дядя Паша пробежал своими сухими пальцами по клавишам баяна, и началось, началось... «Тачанка» вылетела из темного тоннеля, и под темными закоптелыми сводами зазвучали дружные щелчки каблуков. Мазутовые светильники горели чадящим пламенем. Света было мало, на лицах танцующих ребят играли слабые блики, и пахло дымом. Получился какой-то танец огнепоклонников. Зрители замерли. Я вышел наружу, на солнышко. И пошел вдоль стен завода. Я слышал, как кончился танец, как загремели хлопки зрителей. И потом все стихло.

И вдруг за спиной я услышал голоса. Я сразу узнал высокий голос Вадика и голос Тамары, чуть с хрипотцой. Голоса долетали из пролома в стене.

— Тебе не холодно? — спрашивал голос Вадика.

— Не-ет.

— Что же ты дрожишь?

— Мы далеко забежали. Надо возвращаться.

— Подожди... А так тебе тепло?

Я не слышал, что ответила Тамара. На некоторое время голоса стихли. Потом Тамарин голос произнес:

— Зачем ты так?

— Твои волосы пахнут шиповником, — ответил голос Вадика.

— Неужели?.. Вадик, ведь я блокадная девчонка. Я же тебе не нравлюсь.

— Молчи! — отозвался голос Вадика. — Давай здесь остановимся, никуда не пойдем. Будем жить в пещере.

— Как Том и Бекки? — в тон ему спросила Тамара. — Ничего у нас не выйдет. Война. У Тома и Бекки не было войны.

— Ты боишься обстрела?

— Когда ты со мной, я ничего не боюсь, — был ответ.

— А так тебе теплее?

И снова тихо.

— Мы никогда с тобой не расстанемся? — спросил Вадик.

— Никогда. — ответила Тамара. — Ты полюбил меня? Верно?

— Верно, — не раздумывая, ответил Вадик.

— Я думала, меня нельзя полюбить, потому что во мне что-то оборвалось, увяло.

— Глупости! Это тебе кто-то наговорил глупости. Мы будем вместе с тобой танцевать всю жизнь. Это же здорово — танцевать вместе.

— Здорово! — согласилась Тамара.

— А почему твои губы пахнут шиповником?

— Не знаю.

Я стоял спиной к пролому, боясь пошевелиться, чтобы не выдать своего присутствия. Но они, Тамара и Вадик, видимо, заметили меня, потому что неожиданно умолкли. Потом я услышал хруст щебенки под ногами. Оглянулся. Передо мной стояла Тамара. На фоне закоптелой стены она казалась тоненькой и хрупкой. Глаза ее странно блестели, словно излучали свет, и все вокруг было как бы освещено этим светом. Она вопросительно смотрела на меня: слышал я или нет? Я вдруг тоже почувствовал запах шиповника. К этому запаху примешивался горьковатый запах дыма.

— Борис... Владимирович...

Она, вероятно, хотела спросить, что я слышал, но вместо этого заговорила совсем о другом:

— У меня не получился финал. Вы заметили?

Я покачал головой.

— По-моему, все было в порядке, только под ногами попадались осколки кирпича.

— Позтому и финал не получился... Я споткнулась.

— Не беда, чадо мое. Просто тебе никогда не приходилось выступать в печах. Когда-нибудь станешь солисткой балета, будешь вспоминать эту печь.

— Буду, — согласилась Тамара. — Столько придется вспоминать, как бедная память выдержит!

Наши глаза встретились, и она поняла, что я все слышал. Она как-то отпрянула, видимо, хотела убежать, но удержалась на месте, готовая постоять за себя, если надо будет, и с удивительной легкостью стала спускаться с горы битых кирпичей, как бы не касаясь их ногами. Только один осколок покотился вниз.

И вот уже два глаза смотрят на меня. Они смотрят с вызовом,

который скрывает смущение. Лицо горит. Но это может быть от танца, а может быть... Я чувствую, что должен помочь ей.

— Посмотри, — говорю, — какой шиповник...

И я подвел ее к кусту, который цвел в полную силу, словно рядом с ним не рвались снаряды, не летели осколки кирпича, не полыхало пламя. Только сочная темная зелень была покрыта розовой пылью.

— Я чувствовала, что здесь где-то рядом шиповник, — сказала Тамара, — но подумала — почудилось... Странный запах, с горчинкой...

— Это примешивается запах гари, — произнес я.

Она вскинула глаза и испытующе посмотрела на меня: может быть, я все же ничего не слышал? Но тут же поняла, что не мог я не слышать — ведь стоял же рядом.

— У нас на даче в Тарховке рос шиповник, — сказала она, лишь бы что-нибудь говорить. — Колючий...

— Этот тоже колючий: ведь на войне всем надо защищаться, даже цветку.

— Но тогда не было войны. А колючки были.

В это время к нам подбежал молоденький красноармеец.

— Товарищ лейтенант! — Он ткнул себя пятерней в висок. — Надо срочно эвакуироваться, сейчас немцы начнут обстрел. Не дает им этот заводик покоя...

И мы заторопились к своим.

V

Нет, Галя, это были не простые ребята. До того как попасть к нам, они в кровь стерли руки и надрывали неокрепшие спины на оборонительных работах, зимовали в нетопленных квартирах и, когда у них на руках умирал кто-то из близких, копили хлеб — отрывали от своих блокадных 125 граммов! — чтобы заплатить хлебом — золотой валютой блокады — за гроб. Они по тревоге не прятались в бомбоубе-





жище, потому что презирали смерть, и перебежали улицу под артобстрелом — была не была! Они становились санитарями и бойцами групп самозащиты. Они тушили зажигалки, хватали их длинными щипцами — и в бочку с водой: ш-ш-ш!.. Голодный понос... Дистрофия... Утрата интереса к жизни... Они стали забывать, что такое электричество, телефон, водопровод. Как в страшном фантастическом романе, мои ребята перенесли из эпохи первых Дворцов пионеров в ледяную блокадную Помпею, но не слились с мраком, не задохнулись жидким холодом — преодолели боль, одиночество, режущий голод. И теперь они живы! Они сыты. Они набрались сил. У них гимнастерки с петлицами защитного цвета. А на петлицах маленькие золотые лиры, поскольку эмблему военных артистов балета еще не придумали. Они учатся стрелять из автомата ППШ, носят на ремнях трофейные финки. Не молоденькие салажата, а бывалые, прошедшие огонь и воду бои.

Сами того не понимая, они — танцевальная группа политотдела — стали необходимы армии, как патроны, снаряды, мины, взрывчатка, медикаменты. И хриплые голоса командиров, которые в трубки полевых аппаратов орали: «Подбросьте огурцов!», то есть снарядов, те же голоса просили: «Пришлите юных танцоров! Надо поднять у ребят дух!» — «Каких вам танцоров, немец от вас в трехстах метрах!» — «Мы отвлечем немцев на фланге! Это уж наша забота! Ни один волосок не упадет с головы ребятшек...»

Мы никому не отказывали. Не жаловались на усталость. Собирались по тревоге — и в путь. Правда, мои ребята еще не научились отвечать: «Есть!» или «Слушаюсь!», а говорили по-граждански: «Хорошо». Но приказ выполняли по-военному. По-фронтовому.

Я пробираюсь в то далекое трудное время и еще веду за собой эту большеглазую девчонку. Но с ней мне не так трудно, не так одиноко. Вперед! Сквозь толщу лет. Счастливых и несчастливых. Дождливых и засушливых. Сквозь перемены — к лучшему и к худшему. Сквозь время, которое люблю, которому предан сердцем.

Я вижу себя молодого и седого. Я — киндерлейтенант, нареченный так начальником политотдела армии Васильевым. Командир, педагог, нечто вроде дядьки Савельича при молодом Гриневе. Шестеро у меня этих «гриневых», о которых я все знаю. Знаю, что у Тамары Самсоновой и Вадика вдруг возникло тревожное, таинственное влечение, в котором они не могут разобратся, но их обоих радостно лихорадит, переносит в иную жизнь, где нет войны, нет блокады, а только любовь... Алла Петунина ничем не интересуется, она все делает механически и танцует с каменным лицом. словно заледенела в зимнем бескровном Ленинграде и еще не оттаяла. Женя Сладкая вдруг стала проявлять интерес к длинному Сергею, а Шурик, маленький рассудительный Шурик, ходит за ней как тень и бросает недобрые взгляды на Сережу, словно тот в чем-то виноват.

В общем, все складывалось нормально. Молодость брала свое! Она оказалась сильнее войны. И это наполняло сердце неистребимой верой

в жизнь, а стало быть, в победу! В возвращение к прекрасному довоенному времени.

И огни Дворца пионеров — огни мира и счастья — прорывались ко мне сквозь зловещую фронтовую тьму. Манили и звали.

Но было в жизни моих ребят, я теперь это осознаю ясно, нечто такое, на что я — нерадивый киндерлейтенант, рассеянная нянька, то есть дядька! — не обратил внимания. Потому что сам был молод и зелен.

Однажды группе роздали посылки из тыла. Одна из посылок досталась Тамаре Самсоновой. Небольшая такая, зашитая в мешковину, на которой черным карандашом было выведено: «Доблестному бойцу». Посылка предназначалась взрослому фронтовику, а досталась девушке. Тамара осторожно распоролла суровую нитку, которой была зашита мешковина, и обнаружила кисет с табаком-самосадам и шерстяные носки. Кисет Тамаре был, конечно, ни к чему, а носки, хотя и были связаны на большую мужскую ногу, она все же надела. Теплые это были носки. Но, кроме носков и табака, было в посылке еще и письмо.

Здравствуй, доблестный боец! — писал автор письма. — Пошлю тебе носки и кисет с самосадам. Пусть у тебя не мерзнут ноги. А захочешь после боя закурить — табачок в кисете. Бей фашистов! Отомсти за моего батьку. Мамки у меня тоже нет. Я совсем одинокий. Серега Филиппов, третий класс.

Теперь я понимаю, что именно это письмо, обычное, похожее на тысячи других, все перевернуло внутри Тамары и вывело ее на огненную орбиту. Сперва девушка мучалась сознанием, что посылку доставили не по адресу — вместо «доблестного бойца» вручили ей, балерине политотдела. Но когда ей сказали, что она такой же боец, как и все, успокоилась.

Это только я так подумал, что она успокоилась. На самом деле в сознании девушки началась мучительная, напряженная работа. Ее прежние представления разрушились, и им на смену возникли новые.

«Я должна, — сама себе внушала Тамара, — я должна быть там, где настоящие бойцы, взрослые. Я должна идти под пули, должна бить фашистов, потому что не имею права обмануть Серегу Филиппова».

Во время войны все созревало быстро. И все было немного незрелым. Как рано сорванные яблоки. Не будь войны, Тамара была бы еще обычной девушкой, немного своенравной, но, в общем-то, мягкой, располагающей к себе. Она была очень похожа на моих сегодняшних ребят — на Галю Павлову. Так же была влюблена в балет, и ее постоянная истинная жизнь была в танце. Жизнь и самовыражение. Я невольно сравниваю этих двух девочек, моих любимых учениц, мысленно меняю их местами. И представляю себе Галю Павлову в гимнастике, длинной, чуть ли не до колен, воротничок хомутиком, плечи

велики, обвисают, в пилотке, надвинутой на бровь, хотя по уставу между пилоткой и бровью должны уместиться два пальца, в сапогах, тяжелых, солдатских, на два номера больше. Мне кажется, что это не форма, а костюм из «Тачанки», только с чужого плеча, не подогнанный.

У Тамары костюм был настоящий. Не театральный. Полученный на складе ОВС (обозно-вещевого снабжения) для того, чтобы воевать, а не играть в войну.

Тамаре и Гале одинаково по шестнадцать лет. Но Тамара старше Гали на целый год войны. И ее уже не назовешь девочкой. Она — красноармеец-балерина. И не просто балерина, а балерина политотдела. Ее глаза видели смерть — от голода, от осколков, от пули. Ее сердце покрылось жесткой корочкой, но сама-то она не почерствела, чувствует чужую боль, как свою. Она знает многое такое, о чем Галя даже не подозревает. Яблочко мое зеленое.

И в то же время эти двое сливаются в моем сознании воедино. И когда я прорываюсь в прошлое, то рядом со мной оказывается Галя. Мне порой кажется, что сейчас на сцене Дворца пионеров танцует Тамара. Особенно когда исполняют «Тачанку». Прежняя Тамара оживает в танце, а потом за кулисы возвращается Галя...

Помню, как-то раз нашел у Тамары на койке раскрытую книгу. Красным карандашом были подчеркнуты слова: «Мне приходится учиться искусству танца у простых деревенских жителей: у цыган, у горцев, у крымских татар, у русских мужиков и баб. В них наш характер, правда жеста, тот мудрый язык движений, который приходит от самой жизни... Народный танец — жизненный сок театрального концертного танца».

Потом Тамара как-то спросила:

— Ведь искусство должно выражать свое время. И даже танец, правда?

— Правда, — согласился я.

— Вот я все думаю, — Тамара приложила кончики пальцев к вискам и посмотрела на меня из-за шор-ладошек, — как наши танцы выражают сегодня героическое время? Неужели они такие же, как до войны, во Дворце пионеров?

— Нет, — убежденно сказал я. — Просто некогда ставить новые танцы. Но наши танцы наполнены новым содержанием. Ведь когда на сцене появляется наша «Тачанка», за стенами гремят настоящие выстрелы. И настоящий снаряд — брезантный или бронебойный — может попасть в «Тачанку».

— Я это чувствую... Я однажды видела, как бойцы шли в атаку под фашистскими пулеметами. Их перебежки были стремительны, броски, легки... Хотя они были скованы, но преодолевали эту скованность, преодолевали каждым своим движением... И я потом попробовала. Высокий прыжок, широкая амплитуда движения.

— Ты умница, — сказал я. — Ты не только танцуешь, ты думаешь.

— Я видела, как один боец упал. Его сразила пуля. Он как-

то съезжился. И сполз набок. И затих, словно заснул. И это уже не выразишь. У него был стоптанный ботинок, а на шее большое родимое пятно...

И тут я понял, где она была. Я почувствовал, как кровь прилила к моему лицу, и, стараясь не закричать, сказал:

— Кто тебе позволил?

— Так получилось. Они пошли прямо с концерта, и я с ними. Мне казалось, что если я вернусь, то как бы предам их. Я хотела перевязать того бойца. Но он не дышал... И это тоже не выразишь танцем.

И тут она подошла ко мне близко, заглянула мне в лицо своими большими, так много накопившими глазами и сказала:

— Борис Владимирович, пошлите меня в роту.

Она встревожила меня своей просьбой. Но я решил не выказывать своего удивления и ответил ей буднично, без всяких объяснений и увещаний.

— Какая от тебя польза в роте? Ты же не держала в руках автомата.

Я думал обескуражить ее, но ничего у меня не вышло. Она подошла к стене, сняла с гвоздя автомат, неизвестно как очутившийся в комнате ребят, и молча стала разбирать его. Она делала это ловко и проворно. В ее движениях чувствовалась не только сноровка, но и опыт. Потом она скользнула по мне взглядом и в считанные минуты собрала оружие. Однако я не сдался.

— Стрелять-то ты можешь?

— Могу.

Тамара загнала меня в угол. Я надвинул пилотку на самую бровь и, как полковой комиссар, засунул ладони под ремень.

— Разве ты не на фронте? — спросил я.

— На фронте стреляют, а не танцуют, — был ответ.

— Стреляют тысячи людей. Десятки тысяч. А танцевать — вы уж меня извините! Своими танцами ты помогаешь ковать победу. Ты мстишь фашистам...

Я, кажется, заговорил лозунгами. Тамара посмотрела на меня с сожалением и сказала:

— Вы киндерлейтенант! Вам меня не понять.

— Да, киндерлейтенант! — Я окончательно вышел из себя: — Я тебе и учитель, и командир. Я, чадо мое...

И тут увидел, что ее глаза полны слез, и осекся.

— Не чадо, — сказала она, стараясь сдержать некстати нахлынувшие слезы, — и не ваша. Я теперь Сереги Филиппова.

— Какой еще Серега Филиппов?

И тут она расстегнула кармашек гимнастерки, достала письмо и протянула мне — читайте!

Откуда этому далекому Сереге Филиппову было знать, что попадет его самосад не суровому бойцу, а балерине политотдела!

— Ты куда табак дела? — спрашиваю Тамару.

— Отдала дяде Паше. А носки я ношу сама. Они, правда, на три



номера больше, но теплые... Если бы был жив отец, я бы ему отдала все. А то он умирал с голода, а корочки хлеба копил и менял на табак... Обман какой-то получается. Серега отдал последнее тому, кто может отомстить за отца, а я цыганочку танцую.

— Ты еще танцуешь «Тачанку», — твердо сказал я. Так твердо, как только мог. — И чтобы о роте я больше не слышал. Ясно?

Она стояла потупясь. Не слушала меня: ори, ори, киндерлейтенант!

Вскинутая головка подстрижена под мальчишку, узенькие плечи, с которых свисает гимнастерка, рукава до пальцев. Глаза большие, а губы нежные, с трещинками от ветра. Маленький подбородок, впадинка под нижней губой. И шея длинная, тонкая — велик воротник гимнастерки, висит хомутиком.

— Разрешите идти? — спросила Тамара.

— Иди!

Повернулась через левое плечо, не по-солдатски легко и бесшумно. И пошла прочь.

И когда за ней затворилась дверь, мне стало не по себе.



...А через день нам предстояло преодолеть простреливаемый участок. Я, когда узнал об этом, хотел было отменить концерт, мне строго было запрещено рисковать жизнью детей. И тут Тамара сорвалась с места. И вышла из укрытия.

— Стой, Самсонова! Тебе говорят, стой!

Не послушалась она меня. Шла как фаталист, не верящий в смерть. Вызывающе спокойно. У всех на виду. А я-то знал, что за полем, в синем кустарнике, фашистский снайпер уже вскинул винтовку с оптическим прицелом. И уже подводит перекрестье под выступающий вперед левый карманчик ее гимнастерки. И этому фашистскому снайперу наплевать, что она еще совсем зеленая. И что она даровитая.

— Приказываю, стой!

Напрасно. Я понял, что она уже не остановится, что повернуть было противно ее натуре.

И еще я понял, что если сейчас что-нибудь случится, я никогда не прощу себе этого.

Тогда я побежал. Я бежал, подгоняемый страхом за Тамару. Словно



она была моей дочерью или сестренкой. А не просто красноармейцем Самсоновой.

Я не верил, что успею добежать. Но фашистский снайпер замешкался, его, видно, больше заинтересовал я. И там, в синем кустарнике, все еще не стреляли.

Я успел! Схватил ее за руку, бросил на землю и сам неловко шлепнулся рядом. Треснул выстрел. Пуля свистнула по-птичьему и как ножом срезала веточку вербы рядом с моей головой.

— Мне больно,— сказала Тамара,— я разбила локоть.

— Молчать! — Я забыл, что уже не командир минометной роты, а киндерлейтенант. И горько пожалел, что рядом нет моих ребят — минометчиков. Что нельзя накрыть этого чертова снайпера тремя минами, беглым... — Ползи за мной.

— Не умею ползать... Я встану,— сказала она.



— Ползи, как можешь! За мной!

Нам надо было добраться до железнодорожного полотна. Метров двадцать. А там уже было безопасно. Если немцы, конечно, не вздумают бить из миномета.

Мы ползли, а немцы стреляли. Они охотились за нами. И пули отсекали рядом с нами веточки вербы с узкими серебристыми листьями.

— Ползешь? — спрашивал я Тамару.

Она не откликнулась, была сердита на меня за разбитый локоть. Но по шороху и по тяжелому дыханию я чувствовал — ползет. Вот выберемся, тогда поговорим с тобой, красноармеец Самсонова! Только бы она доползла. Ведь когда человек не умеет ползти по-пластунски, пуля может достать его.

— Прижимайся к земле! — кричал я через плечо.

Она была близко. Видимо, не хотела от меня отставать. Только бы доползти! Только бы ничего не случилось!

И тут началось спасительное полотно. Мы были в безопасности. Я встал. Оглянулся. Тамара уже стояла на ногах. Поднялась раньше меня. Отряхивала юбку.

— А жить нам было суждено, — сказала она спокойно, словно мы находились в нашем классе, а не под пулями.

Я схватил ее за руку. Собрался уже накричать, но почувствовал, что не могу. Не было у меня голоса, чтобы накричать. Только посмотрел ей в глаза и тихо, как-то совсем не по-командирски — по-киндерлейтенантски, сказал:

— Я тебя прошу. Больше никогда не делай этого.

Тамара удивилась, что я не кричу на нее. И тоже не по-военному, а как старшая младшему сказала:

— Вы не волнуйтесь так... Мы же на войне.

И пока я думал, как ответить, заметил, что по той проклятой простреленной тропе ползут остальные ребята. Толкают перед собой вешевые мешки с костюмами и ползут. Без приказа. Без разрешения своего киндерлейтенанта.

В эти дни Гитлер подписывал директиву за номером сорок пять, в которой приказывал начать подготовку к новой операции с красивым названием «Фоейрцаубер» — волшебный огонь, фейерверк. Так вот, этот волшебный огонь означал, что группе армии «Север» надлежит начать решительную подготовку к захвату Ленинграда. И потянулись к нашему родному городу эшелоны с фашистскими войсками и техникой.

А войска Ленфронта начали подготовку к прорыву блокады.

VI

Ни сон, ни передышка, ни отвод в тыл не могли оторвать бойцов от войны. Война лезла во все щели. Каждым движением, вздохом напоминала о себе, требовала к себе внимания, требовала жертв,

страха... Она сигналила заревом пожара, вулканическим гулом далеких бомбардировок, смрадом не преданных земле останков павших. Она оборачивалась то болью, то голодом. Тяжелой вынужденной бессонницей, шемящей тоской по дому — фронтовой ностальгией. Даже во сне война не оставляла бойцов, не давала им передышки — снилась.

И только перед танцами моих ребят война расслабляла мертвую хватку, отступала, терялась. Вид танцующих детей на время вытеснял войну из сердца бойца. В недолгие минуты фронтового концерта, когда маленькими танцорами легко кружились на глиняном полу землянки или солдатскими саложками отбивали дробь на дороге, превращенной в сцену, люди как бы отрывались от изрытой минами земли и переносились в далекое мирное время, к своим очагам, к детям, братишкам и сестренкам. Бойцы оттаивали на наших концертах. Когда же надо было возвращаться к орудиям, боевым машинам, в окопы и на огневые позиции, они, бойцы, были уже другими, обновленными, словно после духоты и смрада надыхались живительным кислородом. Недаром головастый полковой комиссар Васильев задумал создать при политотделе танцевальную группу. Опытный политработник знал тайную силу искусства.

Моя же Тамара поняла это не сразу. Ей казалось, что любой человек с автоматом в руках может сделать для победы больше, чем ее танец. Потребовалось немало времени, прежде чем она, танцовщица, почувствовала себя нужной, необходимой армии. Она вдруг перестала проситься в роту и уже не ходила на стрельбище, сооруженное за школой работниками политотдела. Другая отчаянная страсть пробудилась в девушке: танцевать там, где устали, для полка, для роты, для пулеметного расчета. Танцевать там, где особенно трудно и особенно опасно. Одинокий Серега Филиппов, приславший ей кiset с самосадом и бабкины шерстяные носки, звал ее вперед и, по неведению присвоив ей звание «доблестный боец», требовал от Тамары доблести.

Теперь Тамара предпочитала танцевать одна, там, где всей группе негде было развернуться и куда добраться было сложно. Танцевала в брезентовых палатках медсанбата, без музыки, чтобы не тревожить раненых. Танцевала на переднем крае, на сене, чтобы немцы не слышали стука каблуков. Как маленькая отчаянная комета, проносилась она по войскам нашей армии, оставляя долгий, медленно остывающий след.

Ах, моя дорогая комета! Я чувствовал перемены, которые происходили в ней. Ее лицо огрубело, движения стали резкими, она мало говорила, часто лежала на койке с открытыми глазами, прислушивалась к шагам в коридоре: может быть, приехали из части, тогда надо собраться быстро, по тревоге, и в путь. На подводе, на разбитой полуторке, пешком. Даже ее чувство к Ваднику померкло, ушло вглубь, как уходит боль. Только иногда, когда она глядела на него, ее глаза теплели. Но она тут же отводила взгляд, устыдясь минутной слабости.

Ноябрьским вечером, никому ничего не сказав, она ушла с пополнением на плацдарм. До сих пор не знаю, кого она уговорила взять ее с собой. И кто согласился на это.

...Стояла ненастная ночь, дул холодный ветер, и мокрый снег белыми крупными хлопьями густо падал с неба. Над Невой, как лампы, висели осветительные ракеты. И в их режущем свете было видно, как белые хлопья, касаясь черной воды, гасли и как бы тоже становились черными. Ветер раскачивал летучие лампы, густой мокрый снег делал их свет тусклым. Лодки и понтоны были плохо видны с того берега. Немцы били вслепую. Свистели осколки, стоял грохот. Полк переправлялся на другой берег. На одной из лодок пристроилась Тамара. Она сидела на широкой скамье, маленькая, хрупкая, сжавшись в комочек. И только ее полные решительности глаза смотрели вперед, сиюсь различить в мутной мгле надвигающийся берег. Рядом рвались мины. Лодку качало. Бойцов обдавало ледяной, жгучей водой, от которой пахло железом. Иногда совсем близко с сухим шорохом пролетал осколок, все в лодке пригибались и умолкали, словно боялись выдать свое присутствие. Хотя если бы в этом несмолкающем грохоте и звучал человеческий голос, его все равно невозможно было расслышать. Рядом с Тамарой на скамье сидел дядя Паша. В ногах у него стоял баян, который старик обхватил двумя руками, словно защищал свой хрупкий инструмент от осколков. Было в этой защите что-то наивное, а сам поступок дяди Паши был сумасбродным: поддался старик на уговоры девчонки, пошел с ней в самое пекло. Зачем?

Зачем? Есть вопросы, которые и сегодня остаются без ответа. Ведь у войны своя логика. Трудная, фанатичная. И старика баяниста поднял в его трудный путь Серега Филиппов. Поднял и повел...

Я не просто вспоминаю — я разбинтовываю рану. Отрываю от живого, и с каждым витком становится все большее. Я совершил в жизни много ошибок, но эта — самая непростительная. Я должен был не спускать с Тамары глаз, обязан был караулить ее, держать всегда возле себя. Ведь, по сути дела, она была еще девчонка. Шестнадцать лет! А в ней бушевала неумная, взрослая боль за свою Родину, за свой город. И когда немцы с Вороньей горы били по Ленинграду, ей казалось, что все снаряды летят в ее дом. И была у нее за спиной пережитая блокадная зима. И ее подлинным командиром неожиданно стал Серега Филиппов. Для хрупкой девушки этого было слишком мало. Тяжесть давила на нее, и она искала облегчения в опасности, рвалась в самое пекло. Уверовав в силу своего искусства, она не давала этой своей единственной силе отдыха. «Дочка, ты танцевала, а я как бы дома у себя побывал», — сказал ей один боец. И ей хотелось, чтоб все побывали дома.

Я знал это. Знал, что творится у нее на душе. Но слишком понадеялся на ее благоразумие. Она ускользнула от меня. Понеслась навстречу судьбе, не думая о себе, желая всю себя отдать людям.

Потом о концерте на плацдарме рассказывали легенды. Всю ночь полк занимал оборону, окапывался, отстреливался. А утром там, на

пяточке, где не было живого места и вся земля была перерыта малыми саперными лопатами и перепажана взрывами фугасок, зазвучал баян. И появилась Тамара.

В этом вывернутом наизнанку мире Тамара возникла как видение. На ней была яркая блуза с широкими рукавами, юбка с бесчисленными воланами. Золотые денежки мониста светились, как нанизанные лучики солнца, а с плеч спадал платок, черный, расписанный алыми розами. Только сапоги на моей цыганке были не танцевальные, а простые, солдатские, на два номера больше ноги, измазанные в глине, мокрые от невоской воды. Но этих сапог никто не видел. Кого они интересовали, эти сапоги! Тамара развела руки в стороны, и платок превратился в два черных крыла с алыми розами. И каждый, кто видел эти крылья, начинал чувствовать, что у него за спиной тоже прорезается что-то, пусть поскромней, но для полета не обязательны розы. Нет, она не танцевала, а плыла над землей, невесомая и властная, хрупкая и твердая, ленинградская девушка.

А дядя Паша, наш старый молчун, дымильщик, тихоня, сперва сидел на неизменном ящике от баяна, где еще со времен его стародавней службы во флоте на оборотной стороне крышки сохранились фотографии красоток, вырезанных из журналов, с надписями, которые опять-таки делали не сами журнальные красотки, а писарь флотского экипажа Алешин: «Люблю навек», «Жду привета, как соловей лета», «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей» («больше» вместо пушкинского «легче»). Дядя Паша сидел, но потом в нем взвырало ретивое, и он встал, а от этого музыка стала разливаться шире





по берегу Невы и доносилась до нашего берега. И комдив приказал узнать, что там еще за музыка после такого боя и почему немцы молчат, не драпанули ли?

Оттого, что на мертвой земле распустился такой цветок жизни, война сбилась с толку. Те, кто должен был стрелять, не стреляли. Стволы автоматов и орудий захлебнулись жаркой красотой танца.

Потом пленные немцы показывали, что, когда они услышали звуки веселого танца, им стало страшно, а когда увидели танцующую девушку, то были настолько поражены, что не решились открыть огонь. Что-то сломилось в них, в немцах, в это утро, когда они увидели маленькую танцующую цыганку.

Ах, Тамара, Тамара! Она не просто танцевала на маленькой, наспех утрамбованной площадке, она бросила вызов войне. Сотни родных и

чужих глаз смотрели на нее. Не было на этом пятачке ни одной живой травинки, дерева, по всему плацдарму огненным валом прошла смерть, но была она — танцующая девушка, балерина политотдела. Она стала символом неистребимой жизни, во имя которой стоило держать этот чертов пятачок и не отступать.

«Пляска смерти» — так назвал этот танец пленный немец.

«Пляска жизни» — называли его наши бойцы.

Еще один виток. Еще один. Стискиваю зубы и отрываю бинт... Этот день живет в памяти как незаживающая рана. Все раны давно зарубцевались, а эта нет.

И на витках бинта, как раздавленная клюква, пятнышко крови. С каждым витком пятнышко все больше.

Мы сидели с Галей Павловой в пустом классе, на низкой скамейке перед зеркальной стеной, но на самом деле совершали далекое трудное путешествие в прошлое, в глубокое зазеркалье моей жизни. Ах, эта увольнительная записка! Не выскользни она из кармана, не упали под рояль к бронзовому колесу, не открылся бы Гале доступ в сорок второй военный год, не состоялась бы ее встреча с балериной политотдела Тамарой Самсоновой.

И вдруг Галя Павлова сказала:

— Знаете, а ведь я сожгла свой костюм цыганочки.

Я сначала не придавал ее словам значения. Слишком далеко находился от сегодняшнего дня. Но потом до моего сознания дошел смысл странного поступка девочки. И я вопросительно посмотрел на нее.

— Зачем ты это сделала? В истории балета никто не сжигал на костре своих костюмов, даже в знак протеста.

— Я сожгла не на костре — в печке.

— И хорошо горело?

— Я облила бензином. Хорошо горело!

— Ну, Галина! Ну, Павлова! Зачем ты это сделала?

Я смотрел на девушку скорее с любопытством, чем с негодованием. А в ее блестящих, чуть раскосых глазах не было и тени раскаяния. Они смотрели сквозь меня, словно я был прозрачным. Разглядывали что-то совсем другое.

Я видел маленькую головку, гладкие волосы, собранные в строгий пучок на затылке. Ушки прижаты к голове, только нежные розовые мочки слегка отходят. Нос со щепоткой веснушек. Длинная шея с голубой жилкой справа.

— Не хотела исполнять танец подвыпивших обывателей! Цыганочку! Может быть, погадать на картах? Позолоти ручку!.. Дура я, правда?

Я терпеливо ждал, когда она выговорится. Я смотрел на нее и, помимо своей воли, представлял на ее месте Тамару. Было между этими девушками что-то общее, хотя их разделяла целая жизнь. Другая была эпоха.

...В эту ночь орудия били сравнительно близко, и дом политотдела вздрагивал, как от подземных толчков. Я встал. Не зажигая света, подошел к окну и слегка отодвинул занавеску светомаскировки. Еще не рассвело — было около шести утра, — но небо уже стало багровым, как остывающее раскаленное железо. При свете вспышек было видно, что валит мокрый снег. Я прислушался и понял: огонь ведут наши орудия, и подумал, как хорошо, что бьют не по городу.

Стекла вздрагивали и тихо звенели — жаловались.

Все еще не зажигая света, я оделся и отправился к своим. Думал, они спят — их пушками не разбудишь! — но, когда переступил порог бывшего класса, вся моя команда была на ногах.

— Доброе утро, — сказал я, закрывая за собой дверь. — У вас уже подъем? Или не спится из-за артподготовки? По-моему, неподалеку форсируют Неву.

Все это я выговорил довольно быстро. И когда умолк, заметил, что ребята молчат. Видимо, что-то случилось.

Я спросил:

— Все ли у вас в порядке, чада мои?

Не ответили мне чада. Промолчали. И я понял, что не все у них в порядке. Я выжидательно посмотрел на Сережу.

— Борис Владимирович, Тамары нет, — сказал он.

— Где Тамара? Куда она запропастилась?

Ребята стояли передо мной опустив глаза, словно чувствовали себя виноватыми за ее исчезновение.

— Она легла вместе со всеми, — сказала Женя Сладкая. — Она легла, и мы крикнули мальчикам: «Гасите свет!» А утром ее койка была пуста.

— Может быть, она встала раньше... может быть, подойдет? — сказал наш рассудительный Шурик.

Но я чувствовал, что он не очень-то верит в то, что говорит.

— Не могла ли она махнуть в Ленинград? — робко сказала Алла Петунина.

— Чего гадать! — сказал Вадим.

— Только и остается гадать, — вздохнул рассудительный Шурик. — И ждать.

Я ходил по комнате, а уже недоброе предчувствие беды накапливалось во мне, подкатывало к сердцу. Однако я старался не поддаваться.

— Костюмы все на месте?

Алла Петунина, наш костюмер, подошла к стене, где на гвоздиках висел весь гардероб ансамбля. Зашуршали платья. Все молча ждали. Потом Алла повернулась ко мне.

— Борис Владимирович, нет цыганского костюма...

— Ты хорошо посмотрела?

— Нет костюма. Посмотрите сами. А Тамара не растает с ним.

Я ничего не ответил. Тогда ребята подошли к нашей костюмерной стенке и энергично стали ворошить весь танцевальный гардероб.

— Действительно, нет,— наконец сказал Сережа.— Она, наверно, ушла в соседнюю часть, ее попросили...

— Что значит «попросили»? — взорвался я.— Здесь армия, а не художественная самодеятельность. Здесь все вопросы решает командир.

Кому я это говорил? Тамаре? Она все равно не услышала моих командирских назиданий. Ребятам? Самому себе?

— Вот к чему приводит разболтанность! — раздраженно пробормотал я. Потом обратился к Сереже: — Веди группу на зарядку! В восемь ноль-ноль экзерсис!

И под сводами старого класса прозвучало:

— Становись! Равняйся! Смирно! Нале-во! Шагом арш!

Сережа нарочито громко выкрикивал слова команды, но до меня они долетали глухо, как из соседней комнаты. Только бы она вернулась! Только бы она нашлась!

Я не знал, что мне делать, куда устремиться на поиски Тамары. Отправился на узел связи армии. В частях, с которыми удалось связаться, о Тамаре не слышали, не выступала у них Тамара. И вообще в этот день было не до танцев — в частях объявлена повышенная боеготовность.

А мокрый снег все валил и валил. Он не ложился, а налипал на провода, на чехлы орудий, на шапки часовых.

Где Тамара? Когда она, наконец, придет? Я звал ее. Сам себе давал обещание не ругать ее, лишь бы она появилась. Должна же она в конце концов появиться!

В два часа дня в класс вошел дядя Паша.

В этот день все забыли про него. Думали, старик занемог и отлеживается в хоззаводе, где стояла его койка. С ним такое случалось. Но весь вид старого баяниста говорил о том, что он пришел не из хоззавода, а проделал трудный, изнуряющий путь. Шинель на нем была мокрой, хлястик болтался на одной луговице таким коротким хвостиком. Щеки запали, глаза лихорадочно блестели и были красными, как от бессонной ночи. Он вошел в класс и, не раздеваясь, сел за парту, служившую столом. Потом дрожащими руками стал сворачивать толстую сигарку. Табак сыпался на колени. Кресало не слушалось — фитиль не загорался. Наконец баянисту удалось закурить. Некоторое время он курил с закрытыми глазами.

Я подошел к нему.

— Дядя Паша, где вы были? Может быть, вы знаете что-нибудь о Тамаре?

Не поднимая глаз, он сказал:

— Знаю.

Я наклонился к старику.

— Она жива?

— Жива.

Я облегченно вздохнул: слава богу, жива!

— Где же она?

— Она в Ленинграде... Во Дворце пионеров.

— Как? Что она делает во Дворце пионеров? — воскликнул я и осека — вспомнил, что Дворец пионеров превращен в госпиталь. Значит, Тамара в госпитале.

— Что с ней, дядя Паша?

Он молчал. Мне хотелось потрясти старика за плечи, вывести его из странного оцепенения, пусть сразу скажет все, что ему известно, чего тянуть. Но я сдержался, взял себя в руки, понял, что старик сам еле живой, чем-то потрясен.

Наконец баянист заговорил:

— Ранена Тамара. На переправе. Возвращалась с плацдарма, и тут ее... миной.

— Какой плацдарм? Какая мина?

Я не мог поверить в реальность того, о чем мне говорил старик.

— Вы там были?

— Был.

«Зачем?» — хотел спросить я и тут же понял бессмысленность своего вопроса. Тамара ранена, и теперь уже все не имело значения.

Собравшись с силами, я спросил:

— Тяжело ранена?

— Тяжко, в бедро. Вот тут записка...

Он долго рылся в кармашке гимнастерки, пока не нашел сложенный вдвое листок.

Я протянул руку к дяде Паше, но он покачал головой:

— Не вам, Ложбинскому... Вадику.

Вадика в классе не было.

Я подошел к двери, крикнул в коридор:

— Найдите Ложбинского! Поскорее!

Пока искали Вадика, старик молчал. Курил и молчал. И я не беспокоил его расспросами, сам скажет, что знает.

Но вот с улицы прибежал Вадик.

— Тебе записка, — сказал я, — от Тамары.

Вадик удивленно посмотрел на меня, принял из рук дяди Паши записку и отошел к окну. Записка была короткой, но читал он долго, словно не мог разобрать почерк. На самом деле он все разобрал, но не знал, как понимать ее, что с ней делать.

Но вот он подошел ко мне и молча протянул листок.

Это была старая увольнительная записка, которую я подписал, провояжая Тамару в город. Я непонимающе покрутил бумажку.

— Там на обороте написано, — сказал Вадик.

Я перевернул бумажку и прочел:

Милый Вадик, со мной все кончено. Я больше никогда не смогу танцевать. Раздобудь пистолет. Очень прошу. Твоя Тамара.

У меня перехватило дыхание. Я поднял глаза на Вадика, тот выжидающе стоял рядом.

— Что ты думаешь? — спросил я Вадика.

Он пожал плечами.

Тогда я спросил:

— Если бы меня не было, а тебе отдали эту записку, что бы ты предпринял?

— Не знаю.

— Но ведь она надеется на тебя.

— Что ж, по-вашему, надо принести ей оружие? Я не дурак.

— Понимаю, что ты не дурак. Я тебе дам увольнительную. Поезжай в Ленинград. Тамара в госпитале во Дворце пионеров. Утешь ее. Собирайся.

Некоторое время он топтался передо мной, потом сказал:

— Лучше вы, Борис Владимирович. Чем я могу ей помочь?

Мне захотелось ударить его. Но я только до боли сжал кулаки.

И отвернулся.

— Действительно, лучше ехать мне, — пробормотал я. — Иди!

Он пожал плечами и ушел. Записка так и осталась у меня. Навсегда. Я снова подошел к дяде Паше.

— Дядя Паша, вы были с ней в Ленинграде?

Он махнул рукой и сказал:

— Какой там Ленинград! На плацдарме были мы.

— Вы с Тамарой... на плацдарме?

Этого я уж никак не ожидал, даже от Тамары. Значит, подхватила она свой вещевой мешок с костюмом цыганки и рванула на плацдарм.

— Как же вы решились, дядя Паша? Ведь вы взрослый человек!

— Да вот, решился... Уговорила она меня...

Она на днях подошла к дяде Паше и как бы ненароком спросила:

— Дядя Паша, вы давно не получали писем из дома?

— На прошлой неделе получил от внука, — ответил баянист. — Он мне картинку прислал. Дом с двумя окнами и дым над трубой.

— Это хорошо, — сказала Тамара, — когда над трубой дым. Ленинградские малыши рисуют дом без дыма. Правда страшно, когда на картинке дом есть, а дыма нет?

— Много, что страшно, — уклончиво ответил старый баянист. Он исподлобья посмотрел на Тамару и почувствовал, что она что-то замышляет. — Ты говори, что тебе? — сказал он.

— Эх, дядя Паша, я бы сказала, да боюсь...

— Я не кусаюсь.

— Лучше бы кусались. Я не боюсь боли. Могу терпеть. В школе шла первой на прививку. Я боюсь, что вы меня не поймете. Вы ведь были под обстрелом. Правда? И ничего?

— Ничего, — ответил дядя Паша, — остался жив.

Он никак не мог понять, к чему она клонит.

— Конечно, остались! И не обязательно в бою погибать. Ведь когда боец идет под огонь, он верит, что пуля пролетит мимо, а осколок вопьется в землю. Ведь большинство осколков попадает в землю.

— Ты говори ясней! — не выдержал дядя Паша.

— Завтра на плацдарм идет пополнение. Ночью будут переправляться. Давайте махнем туда... Я договорилась с одним лейтенантом.

— Нам-то с тобой что делать?

— Дадим концерт.

— Там без нас будет концерт, на плацдарме-то.

— Не поняли вы меня, дядя Паша, — заволновалась девушка. — Вы знаете, что с человеком бывает после боя? Радостная усталость?

Ерунда. Человек опустошается. И эта пустота давит на него, и получается что-то вроде кессонной болезни. Ему ничто не помогает... кроме искусства. Вот если станцевать им, героям плацдарма, цыганский танец!

— Ты с ума сошла! Там земля наполовину железная!

— Люди тоже наполовину железные, — возразила Тамара. — Но они все же люди! И защищать Родину они могут, только оставаясь людьми. Вы боитесь, что ли?

Она так прямо и спросила, чем повергла старого баяниста в смущение. Старик засопел.

— Если вы против, я пойду сама. В конце концов, мне ребята помогут.

И тогда в дяде Паше, в старом молчаливом человеке, что-то дрогнуло, какие-то его старые представления дали трещину. Он неожиданно почувствовал, что в этой отчаянной девчонке больше мудрости, чем в нем, бывалом человеке. Может быть, существует на свете какая-то особая, недоступная старикам молодая мудрость? Зеленая, как незревшее яблоко, забористая, безрассудная, но... великая! И он подумал, что без этой молодой мудрости мир засох бы, погрузился в скучную дрему. Зеленая мудрость рождает подвиги.

И дядя Паша сказал:

— Пойду с тобой! Околдовала ты меня, девка.

Тамара сразу расцвела, несказанно обрадовалась. Видно, ей с дядей Пашей было не так страшно.

И они двинулись в путь. Снег хлопьями слепил им глаза, а мокрая глина чавкала под ногами. Шли они, как слепые, на ощупь. И было удивительно тихо и безлюдно. словно весь мир спал, завернувшись в одеяло. Только снег кружил снежные водовороты бесшумно, и от него не могли защитить намокшие шинели.

Дядя Паша беспрестанно тянул свою сигарку, словно никак не мог утолить жажду, и виновато поглядывал на меня.

— Я — красноармеец, — наконец сказал он, — и наказание мне положено. Ушел с ней расовольно. Но я не мог ей отказать. Не мог отпустить одну. Пошел за ней и... недоглядел. Да разве на войне доглядишь? Ведь мина не разбирает, где старик, которому и помереть не грех, где балерина...

Он вдруг кинул на пол свою сигарку — никогда этого раньше не делал, — встал и впервые назвал меня не по имени-отчеству, а по званию, как командира:

— Товарищ лейтенант! Надо поспешить к ней... Ведь могут ей ногу... отрезать. Понимаете, какое дело!

Я забыл о своих ребятах, о дяде Паше, о концерте у саперов, вышел на улицу, не чувствуя резкого ветра с Невы, выбежал на дорогу, по которой шли машины в сторону города. Остановил какого-то «козла» и помчался.

VII

— Галя, ты можешь себе представить Дворец пионеров госпиталем? У подъезда санитарные машины. В гостиных — белые койки. В зимнем саду, с большими фаянсовыми лягушками — операционная. И запах, этот неотступный липкий госпитальный запах — запах лекарств и страдания.

Галя смотрит на меня большими удивленными глазами. Она все понимает — умная головка, но представить себе не может... Не хватает силенок у ее фантазии. Не может заставить зажмуриться огни люстр. Не может заглушить музыку, умертвить праздник. И заполнить этот большой прекрасный дом-дворец страданиями. Не может! Слишком крепки в ее сердце свет, музыка, праздник.

Как переступил я тогда знакомый порог, как ударил мне в грудь госпитальный дух, как заходили вокруг люди в белом, так сразу голова пошла кругом. Я растерялся. Почувствовал себя слабым, беспомощным. А от сознания, что в этом чужом, холодном мире где-то находится Тамара, мне стало так нестерпимо горько, что я замер на месте и стоял в странном оцепенении, пока меня не окликнули:

— Вам что здесь надо, товарищ лейтенант?

Я как бы не услышал этих слов. Продолжал мучительно думать о Тамаре. Где здесь она? Какой изуверский военный рок так трагично вернул Дворцу пионеров лучшую танцовщицу пионерского ансамбля — принес на носилках бескровную, онемевшую от страданий, в бинтах? Страшный круг замкнулся. Не круг, а нисходящая спираль.

— Вам что здесь надо, товарищ лейтенант?

Передо мной стояла невысокая девушка в белом халате. Ее строгие темные глаза испытующе смотрели на меня.

— К вам привезли бойца... вернее, девушку. Ее фамилия Самсонова. Тамара Самсонова.

— Она ваша девушка или ваш боец? — строго спросила санитарка.

— Она моя... балерина! — сказал я. — Понимаете, Тамара Самсонова. Я должен ее видеть.

Санитарка недоверчиво посмотрела на меня и пошла.

Я слышал, как она звонила куда-то по телефону и говорила:

— К нам поступила Тамара Самсонова? Тут какой-то чокнутый лейтенант спрашивает... балерину. Он хочет ее видеть.



Потом она снова появилась передо мной и сказала:

— Ее готовят к операции. Будут ампутировать...

Я не дал девушке договорить.

— Стойте! — схватил ее за руку, словно она, санитарка, сама собиралась ампутировать Тамирину ногу. — Да что вы тут, с ума посходили? Ей нельзя без ноги. Она же балерина!

— Балерина, — буркнула маленькая темноглазая санитарка, освобождая руку. — Я ведь не сама решаю. Майор медицинской службы Гальперин...

— Зовите сюда вашего майора! — закричал я. — Скорее.

Должно быть, в самом моем облике было столько отчаяния и решимости, что санитарка, бросив на меня пугливый взгляд, побежала по белой мраморной лестнице наверх. А минут через десять по той же лестнице сошел невысокий черноволосый майор, в золотых очках.

— Вы что шумите? — тихо спросил он, устало потирая рукой лоб.

— Тамаре Самсоновой нельзя ампутировать ногу.

— Вы имеете представление о тяжести ее ранения? Что вам важнее — ее жизнь или...

— Нельзя ампутировать! — упрямо повторил я.

Он, конечно, мог отмахнуться от меня и уйти прочь. Но я бы не пустил его. Я бы впелся в него двумя руками и не пустил бы. И он почувствовал это.

— Вы меня задерживаете, — сухо сказал он. — Кто вы такой?

— Я ее командир... и учитель. Я отвечаю за нее.

— Перед кем вы отвечаете? — спросил майор. — Перед кем можно отвечать, если бьют из минометов?

— Она талантливая балерина.

— Что же вы ее не уберегли?

Я промолчал. Нечего было ответить майору, если я на самом деле не уберег Тамару.

— Послушайте, лейтенант, — сказал он. — Вы можете дать подписку? Предупреждаю вас, может начаться гангрена. Спасая ногу, потеряем человека...

— Я дам подписку, — не задумываясь, ответил я.

И то, что я ответил не подумав, рассердило хирурга. И тогда врач, усталый, пожилой ленинградец в золотых очках, которые придавали ему мирный, предвоенный вид, покраснел, шагнул ко мне и тихо закричал:

— По какому праву вы берете такую ответственность? Кто вы ей: отец, брат?

У меня перехватило дыхание, иначе бы крикнул ему в лицо: «Этот человек мне дороже сестры! Понимаете ли вы это, костоправ?» Но я не мог ничего сказать, а когда дыхание вернулось ко мне, ответил сухо, однозначно:

— По праву командира.

Хирург тяжело вздохнул, и я почувствовал, что это право он признает. Он сразу смягчился. Спросил:

— Верно, что девушка балерина?

— Она не простая балерина,— ответил я.— Она балерина, совершившая подвиг.

Он еще раз посмотрел мне в глаза и, ничего не говоря, пошел вверх по мраморной лестнице.

— Я буду ждать! — крикнул я ему в спину.

Он не оглянулся. Медленно шел наверх. Он уже не принадлежал ни мне, ни себе — начал погружаться в свою трудную, нечеловечески трудную работу: готовиться к своему подвигу.

Я ждал его целую вечность.

Он появился усталый, разбитый. Очки сидели косо. Лицо было красным от долгого напряжения. Он, видимо, шел ко мне, но сделал вид, что случайно обратил на меня внимание. Я молча подошел к нему. Он поправил очки, уставился на меня.

— Что вы ждете от меня? Хотите, чтоб я сказал «все в порядке»? Я не бог! Я только знаю свое дело.— Он достал из кармана платок и вытер лицо.— Ногу я ей, возможно, спас. Год полежит, там видно будет... Насчет танцев не может быть и речи.

— Не может быть и речи! — с отчаянием повторил я.

— Но ведь жить она будет!

— Да, да, главное, конечно... будет жить...

Врач посмотрел на меня поверх очков и сказал:

— Станный вы командир... очень странный.

Повернулся и пошел. А мне показалось, что он уходит не один — уводит с собой Тамару. Уведет из моей жизни, из моей работы, из моей любви. И нельзя броситься следом, отнять у него девушку.

Я почувствовал, как обжигающая горечь подступает к сердцу, обволакивает его, сжимает. И я уже не смогу смотреть, как мои ребята кружатся в танце, раз среди них не будет Тамары.

Полковой комиссар стоит передо мной, уже в который раз засовывая под ремень ладонь, чтобы расправить гимнастерку, словно она во всем виновата. Он ходит по комнате. Он говорит:

— Что же ты, киндерлейтенант, не уберет Тамару?

Я наклоняю голову ниже, чувствую, что он говорит это без укора, а если и корит кого, так лишь самого себя.

— Ох, Корбут! Ох, учитель танцев!

Я понимаю его.

— Товарищ полковой комиссар, отправьте меня в роту... только не оставляйте моих ребят.

— Тебя? В роту? За какие грехи?

— Разве в роту за грехи?..

— Ты меня не прерывай глупыми вопросами. Ты ведь все прекрасно понимаешь.

— Что я понимаю?

— Совесть у тебя чиста! И перед политотделом, и перед самим собой. Мы ведь на войне, что поделаешь! А разве в Ленинграде, в своих квартирах и школах, дети не погибают?

Он повторил слова, которые я говорил ему в тот мартовский день, когда мы впервые встретились. Он утешал меня моими же словами. Я молчал. Что мне оставалось еще делать! И вдруг я посмотрел ему в лицо и увидел в его глазах такую печаль, что его глаза показались мне большими, вместительными, теплыми. Всю войну он старался быть твердым, тщательно скрывал свои переживания, даже сбрил седые волосы. Но тут его прорвало, кремень дал трещину, и из этой трещины зеленой травинкой пробилось отцовское чувство жалости. Он уже не стыдился этого чувства, не старался скрыть его от меня. Все ходил по кабинету, расправлял гимнастерку засунутыми под ремень ладонями.

Прошло столько лет, а я не могу забыть его глаза в день, когда на этом проклятом плацдарме ранило Тамару.

Я держу в руках бесценный клочок бумаги — документ далекой драмы — и читаю, как читал впервые, с болью: «Все кончено... Я никогда не смогу танцевать...» И думаю: разве словом «танцевать» исчерпывается человек? Разве человек не может проявить себя в другом, если волею судеб «танцевать» вычеркивается из его жизни?

Мы сидим в пустом танцевальном классе. Как тихо. Словно все вокруг замерло, чтобы не мешать моему трудному путешествию в прошлое. Только изредка долетает голос скрипки и тут же замирает — где-то на втором этаже идут занятия.

Гале стало холодно, она накинула на плечи шерстяную кофту, но не уходит. Не может уйти, стала моим добровольным спутником, идет рядом и своим сходством с Тамарой усиливает остроту моих воспоминаний. Мне кажется, что я все время молчу, ничего не рассказываю ей, но она проникает в мои мысли, и они становятся ее мыслями, и мы вдвоем думаем об одном и том же и видим одно и то же.

Я так и не снял пальто. Только стянул шарф, и он лежит на столе.

И вдруг я говорю Гале:

— Одевайся, чадо мое, я покажу тебе палату, где после операции лежала Тамара.

Галя наклоняет свою маленькую головку, смотрит на меня большими серыми глазами, которые перестали удивляться, а выражают совсем иное чувство — готовность идти Тамириным путем, как бы долг и труден ни был этот путь.

На улице идет снег. Подгоняемый ветром, он подкатывается под ноги бесшумными валами. И сквозь эту развевающуюся снежную кисею огни главного корпуса тускнеют. И мне кажется, что они сейчас совсем погаснут, скроются за темными шторами светомаскировки, а у подъезда появятся санитарные машины — защитного цвета с красными крестами.



Сейчас я распахну дверь, и меня резанет запах йода и карболки, и усталый хирург Гальперин посмотрит на меня как на безумного.

Мы заходим в подъезд. Нас сразу обдает ласковым теплом. Звучат голоса, откуда-то сверху доносится музыка, ребята стайкой бегут по белой мраморной лестнице, обгоняя друг друга. И никаких санитаров с носилками... Так наслаивается время: на горе — радость. И мы с Галей прорываемся к тому горькому времени.

Мы идем мимо комнат-сказок, расписанных полешанами, мимо кабинета космонавтики, мимо зимнего сада с большими зелеными фаянсовыми лягушками. Здесь тогда была операционная. Здесь дневал и ночевал неутомимый доктор Гальперин.

Звучит музыка. В зале идет какая-то большая массовая игра. Смех и хлопки. Как трудно пробираться сквозь смех к страданиям, преодолевать этот прекрасный слой мирного времени. Особенно Гале трудно.

В комнате, обтянутой малиновым атласом, я говорю:

— Здесь! Вторая койка от окна. Окно выходит в сад. Он тогда уже облетел. И только отдельные листочки желтели на черных, как чугуи, ветвях.

Сейчас на месте «второй койки от окна» стоит старинный павловский диван. На нем сидят три подружки и о чем-то оживленно щебечут. Я подхожу к дивану. Подружки вскакивают и убегают.

— Здесь? — спрашивает Галя и проводит рукой по бархату. И кажется, как я, видит окрашенную в белый цвет госпитальную койку, видит подушку — наволочка желтая, застиранная. Одеяло — шершавое, из шинельного сукна...

А я вижу Тамару, вижу ее бескровное лицо. Глаза закрыты. Губы запеклись. Мне кажется, что я ошибся, и передо мной взрослая женщина, прошедшая трудную жизнь. Я узнаю и не узнаю ее.

— Тамара! Я пришел...

Она медленно открывает глаза — даже это движение стоит ей усилий — и смотрит на меня. Но ее тело, руки, лежащие поверх одеяла, не дрогнули, не восприняли моего появления, хранят каменную неподвижность.

— Загипсовали, как статую, — шепчет мне на ухо санитарка и подставляет табуретку. — Садитесь.

— Вы пришли... — едва слышно произносит Тамара. Ей и шевелить губами трудно, а может быть, больно.

— Я пришел. Тебе привет от всех ребят. И от дяди Паши.

— Его баян утонул, — говорит Тамара. — Он переживает.

— Мы ему раздобудем новый баян, не хуже старого.

Я стараюсь всячески подбодрить ее, избавить от забот.

— Где Вадик? — вдруг спрашивает Тамара.

— Его бы сюда не пустили, — уклончиво говорю я. — Но я все знаю про записку.

Она не выразила своего недовольства, что ее записка не сохранена в тайне тем, кому адресована. Она сказала:

— Я надеялась, что он придет, что он выполнит... Что ж он!

И тут я забываю, что надо отвечать тихо. Я распалюсь и говорю горячо, убежденно:

— Тамара, тебя оперировал прекрасный врач, он спасет твою ногу, вот увидишь! Ты будешь с нами!

Тамара качает головой, вернее, делает чуть заметное движение, но я улавливаю его и с жаром говорю:

— Ты будешь жить!

— Не нужна мне такая жизнь,— говорит Тамара.— Моя жизнь в том, в чем я могу себя выразить,— в танце. А жить, не выражая себя,— пустота.

— Разве только в танце можно выразить себя? — спрашиваю я.

— Нет в мире другого такого искусства, в котором человек участвует весь... Каждым ударом сердца, каждым мускулом, каждой клеточкой. Он весь со своими переживаниями в танце, в удивительном единстве тела и духа... Вы же сами меня учили.

— А любовь? — вдруг спрашиваю я и сам толком не понимаю, почему я заговорил о любви. Может быть, от отчаяния.

— Одной любви человеку мало. Любовь зачахнет без живительных сил, которые дает человеку самовыражение.

— Но ведь, кроме танцев, есть много других возможностей выразить себя!

— У меня нет. Вы же все понимаете, Борис... Я раньше мечтала о театре. А теперь мне снится «Тачанка».

Она назвала меня Борисом и этим как бы уравнила меня с собой или себя со мной.

Она устала. Ей было тяжело держать глаза открытыми. Боль накапливалась, доходила до краев. Губы побелели.

— Вам пора идти,— сказала мне неизвестно как возникшая санитарка и протянула руку к табуретке. Табуреток, что ли, у них не хватает?

Я встал.

— До свидания, Тамара. Я скоро приду снова. Что передать ребятам?

— Скажите, что я их люблю...

Я еще постоял немного. Потом спросил:

— Что передать Вадиму?

Тамара открыла глаза и как сквозь дым посмотрела на меня.

— Привет... что еще передать?

VIII

Я очнулся. В руке у меня старая увольнительная записка. Рядом Галя, притихшая, ошеломленная. Я внимательно посмотрел ей в глаза, они слегка потемнели, и мне показалось, что они видели все то же, что видела Тамара, что она, моя Галя, стояла на той огненной невиской переправе и ее освещала ракета, которая раскачивалась над водой.

Я смотрел ей в глаза и слышал, как воют мины и с ледяным шорохом пролетают осколки и как всхлипывает река, прежде чем взметнуть в небо водяной столб. И я спрашиваю ее, мою ученицу, имел ли я право тогда сказать «нет!», если бы Тамара спросила у меня разрешения. И по Галиным глазам, напряженным и решительным, понимаю: не смел я запретить Тамаре выполнить свой высший долг. И если бы Галя была там, не послушалась бы она моего «нет», разжаловала бы меня из киндерлейтенантов.

Потому что не нужен ей такой учитель танцев, и не нужны ей танцы ради танцев, если идет бой.

Я прячу записку во внутренний карман пиджака, как когда-то прятал в левый карман гимнастерки с клапаном и пуговицей.

Когда два человека страдают, это объединяет их, сближает. А если один ранен, выбит из седла, закован в гипсовую броню, а другой цел и невредим? Мне казалось, что Тамара лежит на берегу, а меня относит течением все дальше и дальше. Но я боролся, я греб против течения. Не терял ее из виду. И как только позволяла служба, я спешил во Дворец пионеров, превращенный в госпиталь.

— Борис, когда я встану на ноги, вы возьмете меня в группу, хотя бы... костюмером?

— Возьму! — уверенно отвечал я. — Мы не можем без тебя.

— А жить нам было суждено, — сказала Тамара и в первый раз улыбулась. В первый раз с того страшного дня, когда все это случилось.

А жить нам было суждено! И мы жили. Ходить надо уметь, ходить надо любить! Мы понесли потери, но жили, боролись. Танцевали.

— Танец хромает без Тамары, — сказал однажды Вадик. — Следует изменить рисунок танца. Я могу показать, как надо, но нужны репетиции.

— Не будет репетиций! Нет времени! — раздраженно сказал я.

— Хорошо, — пробормотал Вадик, — не будет репетиций.

Он все же изменил танец без репетиций, без моего вмешательства. Сам. В этом измененном танце он танцевал за двоих: и за возницу, и за пулеметчика.

Здорово у него получалось. Глубокий выпад влево, глубокий выпад вправо. Все хвалили его. Я молчал.

— Разве плохо? — спросил у меня Вадик.

— Хорошо, — ответил я. — Здорово. Ты, Вадик, настоящий талант. Только ты быстро утешился. Быстро привык танцевать без Тамары.

Вадик пожал плечами.

Он не мог понять, в чем его вина. Он, яблочко зеленое, не дозрел до понимания. В нем еще не прошла детская легкость в отношениях к людям. Не окрепли косточки, гнулись.

Я сердился на Вадика. Сердился на себя, что, будучи киндерлейтенантом, не проявляю достаточно мудрости, не по-взрослому прямолинейен. Но все, что было связано с Тамарой, больно задевало меня и выводило из равновесия.

...А дяде Паше выдали новый баян.

...— Решением Военного совета армии за мужество, проявленное в бою за плацдарм, боец балетной группы при политотделе Самсонова Тамара Дмитриевна награждается орденом Красной Звезды.

Полковой комиссар Васильев в халате, накинутом на плечи, как плащ-палатка, стоял перед Тамариной койкой, а на ладони у него лежала тяжелая темно-вишневая звезда. Он как бы взвешивал награду перед тем, как вручить ее.

Тамара сидела в подушках, в сереньком больничном халате и болезненно шурилась от волнения. Она вся подалась вперед, словно в следующее мгновение откинет одеяло и встанет и вырвется из гипсового плена.

Полковой комиссар подошел к ней ближе и прикрепил орден к отвороту серого халата.

— Не вешай нос, девочка,— доверительно сказал он.— Ты еще станцуешь!

— Я еще станцую,— отозвалась Тамара.— Хотите, сейчас станцую?

И не успев удивленный комиссар ответить, как за его спиной раздался перебор баяна. Это дядя Паша, как добрый призрак, возник в дверях палаты, приглашая свою маленькую подругу к танцу. И Тамара начала танцевать. Нет, она не поднялась с постели, потому что чудес не бывает. Но в руках у нее появился бубен, загремел, затрепетал, взлетел над головой, рассыпая веселый перезвон. Ноги девушки были неподвижны — танцевали руки, плечи, волосы, глаза. Ее лицо преобразилось, и на нем отразился отблеск новой жизни. Руки разлетались по сторонам, взмывали вверх и тихо приземлялись на одеяло. И столько было в них птичьей легкости, и так прекрасен был их полет, что мы, находившиеся в палате, забыли, что девочка танцует, сидя на койке.

У меня перехватило дыхание, и я забыл, где я, что со мной происходит. Тамара танцевала! И ее танец зажигал прежние огни Дворца пионеров, изгонял липкий госпитальный дух. А бубен — маленькое ручное солнце победно сияло над ней, над всей палатой, над зимним городом, только что освобожденным от блокады.

Когда все направились к выходу, Тамара тихо позвала меня:

— Борис, подождите.

Я задержался.

— Сядьте.

Я сел на край постели.

— Если вы не спешите, то побудьте...

— Я не спешу.

— Хорошо, что вы со мной... остались. Мне сейчас трудно быть одной. Такая нечаянная радость. Я давно не делилась с вами радостью. Правда?

— Время такое,— сказал я.— Больше горя, чем радости.

— Но сегодня радость. Правда?

— Правда. Я тебя поздравляю, Тамара. Я горжусь тобой... Я бы, наверно, не смог так. Я всего-навсего киндерлейтенант.



— Нет,— уверенно сказала Тамара.— Вы бы смогли. Я точно знаю. Это из-за нас вы всегда должны быть на месте... Вы спасли нас в первую блокадную зиму. Вытащили полуживых, поставили на ноги. Если бы не вы, ничего бы не было.

— Что ты, Тамара. Не я — так другой.

— Другого нет. Вы один.

Она смотрела на меня, и глаза ее горели. В них светилась радость, которая так давно не загоралась в ее глазах. И вдруг она сказала:

— Наклонитесь ко мне.

И когда я исполнил ее желание, она поцеловала меня. Крепко. Горячо.

И вокруг будто запахло шиповником. Сладким шиповником и горьким дымом. И этот запах, родной, щемящий запах, теперь принадлежал мне.

Я растерялся от нахлынувшей радости и не знал, что делать, что говорить.

— Поправляйся скорее! — Я крикнул громко, на всю палату, так что остальные девушки повернулись на мой голос.— Поправляйся скорее!

— Теперь я скоро поправлюсь,— сказала Тамара.



...Мы с Галей спускаемся по большой мраморной лестнице Дворца пионеров. Навстречу нам бегут ребята. Куда-то опаздывают, обволакивают нас своим бурным, веселым течением, толкают. Мы им мешаем, а они нам помогают сойти с высот героических дней в наше время. Но это не так просто — вернуться оттуда. Не отпускает то время. Затихает медленно, как боль под витками бинта. Я подношу руку к карману, проверяю, на месте ли мой бесценный документ, хотя на обратном пути его предъявлять не обязательно.

Галина тонкая шейка с голубой жилкой вытянута, глаза расширены, не видят бегущих ребят. В ее глазах еще не погас бубен, похожий на маленькое солнце, и орден горит на сером госпитальном халате.

— А жить нам было суждено! — произносит Галя, и эти слова звучат, как строки стихотворения.

Какая-то бегущая девочка замирает на ступеньке и переспрашивает:

— Что? Что суждено?

— Жить! — говорит Галя и идет дальше.

Мы выходим во двор. Снег сыплет густо и бесшумно, заполняет все пространство между двумя корпусами, и освещенные окна мерцают корабельными огнями. Я останавливаюсь. Закрываю глаза и прислушиваюсь. Круговерть метели окутывает меня. Чувствую на губах ледяной вкус снежинок и подставляю лицо под снег.

И вдруг слышу:

— Вы забыли шапку.

— Да, да... Совершенно верно. Спасибо, — механически отвечаю я, провожу рукой по влажным волосам.

— А жить нам было суждено!

Кто произнес пароль моей юности? Тамара? Галя? Или их голоса слились в один бесконечно дорогой голос?

И вдруг снег начинает пахнуть шиповником, сладким шиповником с горьковатым привкусом дыма.

ОТ АВТОРА

В основу повести «Балерина политотдела» легла подлинная история. В марте 1942 года балетмейстер Аркадий Обрант организовал при политотделе 55-й армии танцевальную группу из воспитанников Ленинградского Дворца пионеров. Ребята дали на фронте три тысячи концертов.

А. Обранту и его юным танцорам посвящена эта повесть.

К ЧИТАТЕЛЯМ

*Издательство просит отзывы
об этой книге присылать по адресу:
125047, Москва, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.*

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Юрий Яковлевич Яковлев

БАЛЕРИНА ПОЛИТОТДЕЛА

Повесть

ИБ № 1892

Ответственный редактор Е. М. Подкопалова. Художественный редактор А. Е. Цветков. Технический редактор В. К. Егорова. Корректор Т. В. Русанова.

Сдано в набор 22/XII 1976 г. Подписано в печать 17/II-1977 г. Формат 70×90/16. Бум. офс. № 1. Печ. л. 4. Усл. печ. л. 4,68. Уч.-изд. л. 4,86. Тираж 100 000 экз. А098856. Заказ № 562.
Цена 20 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература», Москва, Центр, М. Чернышевский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР. Росгипволиграфпроект Госкомиздата Совета Министров РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46

Яковлев Ю. Я.

Я47 Балерина политотдела. Повесть. Рис. В. Вольского. «Дет. лит.», 1977.

63 с. с ил.

Повесть о юной балерине, участнице Великой Отечественной войны.

Я 70803—524
М101(03)77 41Р—77

Р2



Цена 20 коп.

